

ТАТЬЯНА  
ЗАМИРОВСКАЯ

# Смерть нет

Роман



18+



РЕДАКЦИЯ  
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

Другая реальность

Татьяна Замировская

**Смерти.net**

«Издательство АСТ»

2021

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Замировская Т. М.**

Смерти.net / Т. М. Замировская — «Издательство АСТ»,  
2021 — (Другая реальность)

ISBN 978-5-17-136393-2

«Смерти. net» – новый роман Татьяны Замировской, писателя и журналиста, автора книг «Земля случайных чисел», «Воробьиная река» и «Жизнь без шума и боли». Будущее, где можно пообщаться с умершим близким, – уже почти реально. Но что случится, если всех цифровых мертвых, загруженных в облако, объединить в общую сеть?.. Сможет ли «интернет для мертвых» влиять на реальный мир? И что делать, если тот, кто умер, – это ты сам, а родной человек не выходит на связь?

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-136393-2

© Замировская Т. М., 2021  
© Издательство АСТ, 2021

## Содержание

1. Интернет для мертвых	8
2. Внутри собаки пустота	14
3. Это точно была не я	22
4. Непрозрачные предметы	29
5. Ветошь души	37
6. Шкатулка с письмами	53
Конец ознакомительного фрагмента.	62

# **Татьяна Михайловна Замировская**

## **Смерти.net**

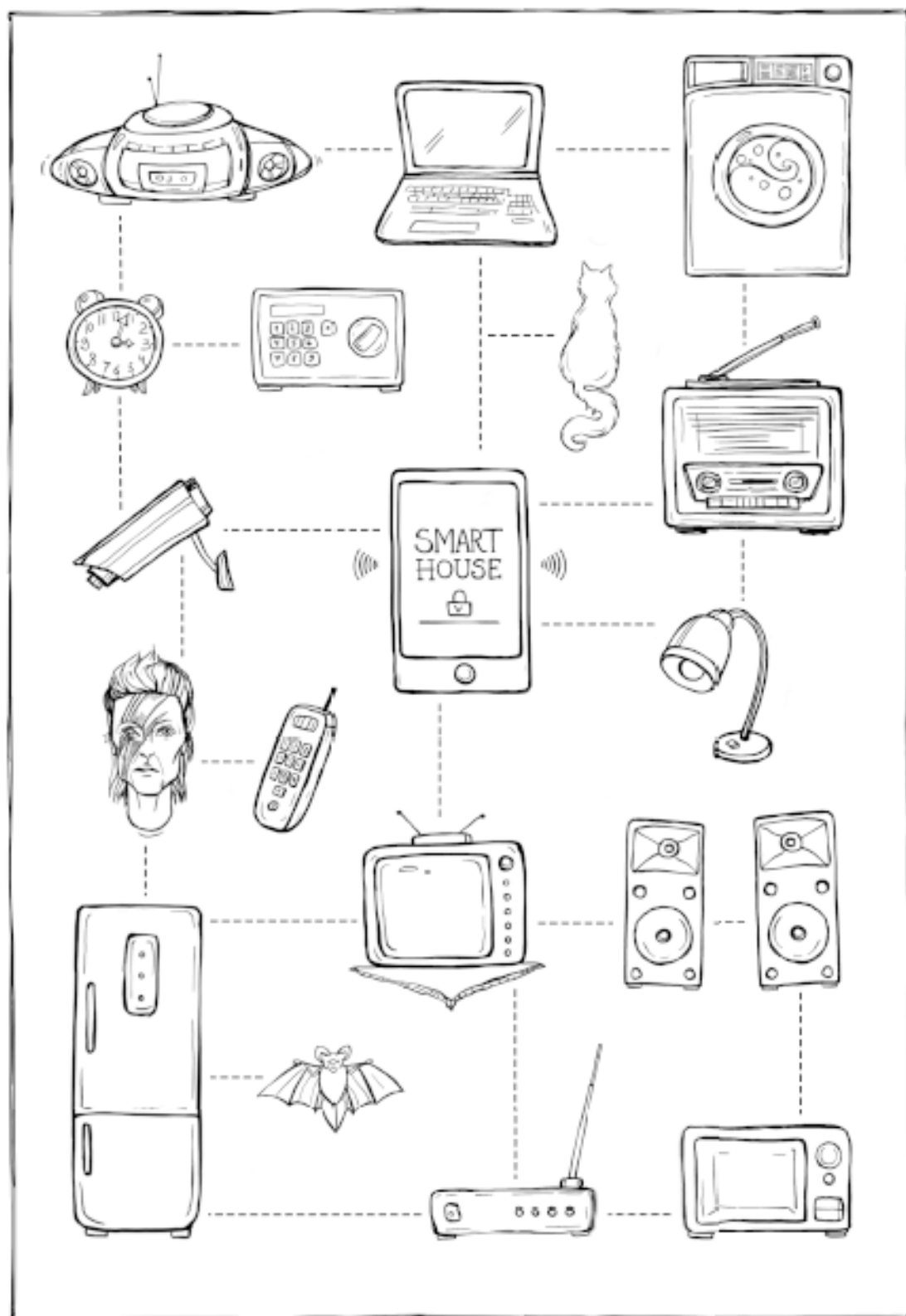
© Замировская Т.М.

© ООО «Издательство АСТ»

Смерти.net



Интернет для мертвых открывается здесь



*I like to think  
(right now, please!)  
of a cybernetic forest  
filled with pines and electronics  
where deer stroll peacefully  
past computers  
as if they were flowers  
with spinning blossoms.*

**Richard Brautigan**  
**«All Watched Over by Machines  
of Loving Grace»**

*Whilst it is true that we did not ask to be here, it is also true that we did  
not ask to not be here either.*

**Genesis Breyer P-Orridge**  
**«Psychic Bible»**

*Мне хочется думать  
(прямо сейчас, пожалуйста)  
о кибернетических лесах,  
полных сосен и электроники,  
где олени мирно бродят  
среди компьютеров,  
словно это цветы  
с вращающимися головками.*

**Ричард Бротиган**  
**«Под присмотром машин  
любящей благодати»**  
**(Перевод Т. Замировской)**

*Мы и правда не просились здесь быть, но правда и в том, что мы  
не просили, чтобы нас здесь не было.*

**Дженезис Пи-Орридж**  
**«Психическая Библия»**  
**(Перевод Т. Замировской)**

## 1. Интернет для мертвых

Все это случилось почти сразу после того, как сломался интернет для мертвых.

Стоп. Верный ли я выбираю тон?

Мне важно рассказывать об этом так, как будто вы ничего не знаете про интернет для мертвых. Как будто вы – моя бабушка, мой единственный умерший близкий, от которого не осталось цифровых свидетельств. Ни почувствовать, ни поучаствовать (и о последнем я жалею больше всего: что бы ты мне сказала сейчас? удалось бы нам доплыть до медовых летних паутинок нашей старой дачи, отговорила бы ты меня превращаться в собаку? или превратилась бы в собаку вместе со мной? или ты и была той второй собакой, навестившей меня из более эфирной и недоступной версии воздушного города?). Для нее вся эта история – вероятно, что-то вроде чуда. Что-то, могущее быть чудом. Так, здесь кто-то переключил мою раскладку.

Предположим, в какой-то момент у нас проведут интернет для мертвых, и я захочу рассказывать об этом именно так. Я говорю «интернет для мертвых», чтобы было понятнее; в реальности (тут кто-то тоже переключает раскладку: с какой стороны у нас реальность?) это не совсем интернет и не то чтобы для мертвых. Мне хотелось бы верить, что мертвые не попадают никуда и по-настоящему исчезают, превращаясь в память, а те, кто попадает, – вечно живые и никогда не мертвые, поэтому не до конца существуют или не существуют вовсе.

Первый год все было устроено камерно и просто, как одноколенный (однокамерный) велосипед (камера-одиночка?). После того как научились загружать психику и память человека на внешний носитель, возник вопрос: что делать с нарастающими тут и там человеческими бэкапами – резервными копиями, репликами или дублями, какой из переводов более уместен? Выбирая между переводами, всегда ориентируйтесь на самый неясный и многозначный. Потерял ключ, а дубликат не сделал. Дома больше нет (никого).

Вначале тренировались на военных и людях науки: эти даже в состоянии отделенного от тела чистого сознания продолжали приносить человечеству пользу. Загружать их себе никто не мог: только спецслужбы, коллеги, исследователи. А потом, после войны, разрешили копировать и обычных гражданских, но исключительно для личного пользования. Соглашаясь на копирование, указываешь в договоре имена всех, кто может общаться с твоей копией. Друзья, родственники, прочие люди. Если вдруг случайная смерть (а у нас это происходит постоянно: грипп или теракты) – им приходит письмо с предложением загрузить в коммуникаторы ваш дубликат, копию за \_\_\_\_ (тут дата последнего копирования). Можно отказаться; некоторые предпочитают прожить потерю по-настоящему: разрыв, исчезновение.

Отчасти я их понимаю: то, что может называться душой или сознанием, – это не то же самое, что имеется у дубликата, наделенного тем не менее точной копией личности. Ювелирная, хирургическая точность. Никаких микроразрывов. Отсутствие отличий. Но разве не должна смерть создавать крошечную трещинку, щербинку, шероховатость? Послесмертное фото с такой же родной улыбкой пугает своей идентичностью: давайте добавим хотя бы выбитый передний зуб? Что-то вроде битого пикселя. Пожалуйста. Дайте нам понять, что вы где-то побывали. Что вы о чем-то помните.

Увы, дубликаты в этом смысле беспамятны, о смерти они не помнят и не вспомнят никогда. Последнее их воспоминание – момент последнего копирования.

– Расскажи, как это было, – спрашивают друзья, потому что поначалу их ничего не интересует, кроме опыта смертного. – Вот ты очнулся в интернете для мертвых. А до этого что?

– Пришел на копирование, сел в кресло.

– А дальше?

– Сел в кресло.

И тишина. Тот, да не тот. Потому что в кресло садился другой, живой человек, который пытался, как и все мы, как-нибудь себя сохранить. Сделайте, пожалуйста, так, чтобы после смерти я продолжил общаться с А, В и С. Перебирайте алфавит хоть сто раз – но это они имеют возможность общаться с вами, а вы, как утверждают некоторые (но не все), просто выключаетесь.

В мире, где уже ничего нельзя выключить даже при желании, биологическая смерть сознания – настоящее благо. Я завидую тем, кто через такое уже прошел. Это единственная во Вселенной разновидность недокументируемого и неразделяемого опыта, доступного и уготованного каждому и регистрируемого изнутри ровно до момента, пока зарегистрировать его успешное завершение может лишь внешний наблюдатель.

Зависть ко внешнему наблюдателю – вот мой диагноз. Зависть ко внешнему носителю. Зависть ко внешнему и его *возможности*. Зависть к умиравшим: назовем вещи *другими вещами*.

Когда-то я читала огромную статью Илона Маска (старик нередко выступал в жанре «я же говорил» в изданиях вроде «Нью-Йоркера», тяготеющего к ретрофутуристичному старичковскому красноречию) о том, как он еще давным-давно утверждал, что мы скоро научимся целиком копировать человеческий мозг, при этом так и не разобравшись, как именно он работает.

Маск был прав: оказывается, чтобы скопировать что-то с идеальной точностью, вовсе не нужно понимать, как оно *устроено*. Мы все время от времени попадаем в эту ловушку: пытаемся что-то воссоздать или скопировать, отчаянно пробуем проникнуть в его сущность, вместо того чтобы проникнуть в сущность копирования как процесса. Копируется все. И ничего на самом деле не найдется. Незачем находить там, где можно дублировать.

Этой копировальной революции поспособствовала окончательная победа теории панпсихизма. В те времена, в которые я мысленно направляю это послание, чтобы сделать его *выносимым*, существовало две теории сознания – панпсихизм и эмерджентность. Согласно эмерджентности, сознание постепенно возникает из ниоткуда – скажем, в мягчайшей прозрачности медузе человеческого фетуса его еще нет, но в крепеньком пельменном младенчике оно уже зреет и наливается кровавой вишенкой смысла. Невозможность отследить чудесный момент возникновения сознания приближала эту теорию чуть ли не к религии. С панпсихизмом, который раньше считали нью-эйджем и дзен-буддистской практикой, ученые попали в точку. Сознание действительно присутствует во всем и изначально, просто не в равной степени. Фетус сознателен, младенец чуть более сознателен, настоящий пельмень на тарелке тоже сознателен. Сознание всепроникающе и измеряемо, оно не берется из ниоткуда. И именно на основе этой теории получилось, скажем так, взять сознание как таковое и нанизать на него, как на шампур, копию личности. Это просто – как класть камни в реку, например. Или расставлять фигуры на пути света, чтобы получать тени в форме фигур. Просто нужны свет и направление, нужны река и течение, нужно время.

Понятно ли я звучу? Звучу ли я вообще? Мы на «ты», или вы – это вы все? Я озвучиваю верхушку этого ледяного айсберга ужаса, в котором мы все оказались после того, как сломался интернет для мертвых. Я – голос этой стылой верхушки, ее бесстыдное сознание, миллионы ее мыслящих и мыслимых прозрачных пельменей.

Тестовый текстовый режим, кстати, вышел никудышным. Вначале счастливые друзья и родственники, обомлев при виде знакомой ожившей иконки в ленте, сияющей чистым изумрудом бытия, лепетали что-то несуразное: *ну как ты? ты меня помнишь? а себя ты помнишь?* Правда, в ответ они получали еще более невнятный лепет, нагромождение хаоса, текстовую бессмыслицу. Да, вроде бы тот самый человек, любимый, родной. Но ведет себя как поисковый помощник и вместе с тем пьяный диджей-одноклассник: включает шальные песни своей юности, безостановочно делится воспоминаниями, не проявляет эмоций, грубит.

Никто не ожидал, что дубликат умершего близкого, несущий аутичную родную чушь, может изранить сердце посильней разлуки. Из-за непредвиденной разрушительности этих первых семейных коммуникаций с дубликатами многим понадобилась профессиональная помощь терапевтов. Тогда еще были терапевты.

После того как выяснилось, откуда берется сознание (но не как оно *работает*, это важно), стало более-менее понятно, почему бессознательный дубликат – это набор бессвязных текстовых всплесков. Сознанию, помимо решенного вопроса о том, *каково это – быть мертвым или летучей мышью*, необходима иллюзия текущего времени. Но и с этим справились: если создать для дубликата симуляцию времени и синхронизировать ее с реальным временем, это все, в принципе, так похоже на сознание, что, вероятно, сознание и есть. В безвремяе, где существует сразу всё, сознание как бы не формируется: оно связано со временем так, как будто оно физическая величина. Возможно, сознание – это и есть физическая величина. Чтобы знать, *как это – быть чем-то*, нужен опыт бытия во времени.

Нет времени – нет наблюдателя. Нет наблюдателя – нет и сознания. Вы – огромная цифровая каша, которую некому прожевать и проглотить, и вы сами собой давитесь, плюетесь и стекаете сами у себя по лицу.

Таким образом, каждый дубликат проходил две стадии – неактивированной и активированной копии. Неактивированная представляла собой скопированную личность, не погруженную в вялотекущий компот времени и не синхронизированную с человечеством: не думающую, не живую, не осознающую себя кашей. Возможно, мы все чем-то таким и являемся до рождения?

А вот активированная копия практически ничем не отличается от человека, который за нее заплатил (и немало – это очень прибыльный бизнес: ни во что так не выгодно инвестировать, как в бессмертие), и, более того, уверена, что она этот человек и есть. Цифровое воскрешение. *Привет, это я, и да, я себя помню.*

Конечно, сразу возник вопрос: как законодательно закрепить шаткие права активированной копии, которая пусть и располагается на облачном сервере, осознает себя живым человеком? Ведь, грубо говоря, ваш дубликат уверен, что он вы и есть. Да, кто-то из вас двоих пережил смерть. Но обычно дубликаты предпочитают об этом не думать.

Так появился Закон о невозможности влияния: дубликат наделен почти всеми цифровыми правами в рамках *разрешенной* ему коммуникации.

«Почти всеми» – это значит, что дубликат не имеет права ни на что влиять. Это первый документ, который вам выдадут перед дублированием: вы обязательно поставите галочку там, где подписант признает, что его дубликат будет считать себя продолжением биологического оригинала (следовательно, это живой человек), но не сможет влиять на реальность (следовательно, все-таки не совсем живой). За реальным миром вы сможете только *наблюдать*.

Да, дубликаты сертифицированных союзами журналистов и писателей могут влиять на мировые новости и общественное мнение. Дубликаты сертифицированных музеями и кураторами художников могут продолжать выставляться и зарабатывать деньги (и выбирать, кому они достанутся). Дубликаты сертифицированных ученых могут всё это изучать и задираться с того света с коллегами. Но если вы не вложились в свое образование и карьеру нелегальным образом, вы можете только беспомощно скроллить ленту новостей и общаться с друзьями и близкими.

Естественно, сразу же начались проблемы. Конечно, пообщаться в чате с умершими близкими – это утешает. Можно поделиться новостями, попросить совета, поплакать, посмотреть в глаза – ведь активированные дубликаты осознают себя как физическое тело, которое транслируется во время видеосессий. Но представьте себе: вот ваша умершая бабушка снова появляется во всех коммуникаторах, будто и не уезжала по огненному колесному пути в свою белую стерильную Валхаллу, спешно пересказывает всю свою жизнь (раньше вы ее не слушали,

конечно же, теперь вы мироточите оливковым маслом из глаз и записываете каждое ее слово), вспоминает семейный рецепт грушево-сухофруктового компота со сморщенными костлявыми сливами ручной сушки, утешает – не переживай ты так, вот же я, живая, все нормально со мной. Потом вы как-то прорабатываете утрату, снова привыкаете к постоянству бабушки, и начинается уже веселье и грязь – не так детей воспитываете, маленький Фима редко звонит, это все твой, вот этот вот твой его подговаривает не звонить, бабушка, мол, дура, но бабушка не дура же, все понимает бабушка, и зачем вы только ее из могилы откапывали, отряхивали землю с седых косм, заройте назад теперь, а *ничем*. Доступ-то односторонний.

И все. Начались конфликты, ссоры, споры. Мертвые сучились, волновались, срывались на близких (на ком еще?). Мир каждого мертвого был фрагментарным, без других людей. Просто стандартный бэкап памяти о мире, который мозг автоматически подгружает из кэша, чтобы редуцировать работу восприятия до необходимого минимума. Мертвые обнаруживали себя в зыбкой, но удобоваримой реальности: мозг всегда создает фон, поэтому, если скопировать мозг, дубликат так же послушно будет создавать фон.

Да, человек – это целый мир; но целого мира оказалось мало. Выяснилось, что долгожданное «если бы ты был здесь» все-таки не работает.

Мертвые обижались, что привыкшие к их цифровому воскрешению близкие начинают понемногу отвлекаться, уходить в реальную жизнь, отпускать. Практика отпускания, прописанная в последней версии человечества как антропологический императив, к сожалению, в такой ситуации выглядела предательством. И воспринималась так же. Вдовцы женились и переставали отвечать на звонки дубликата любимой умершей супруги. Дети устраивали матерям истерики, когда те потрясали перед окошками коммуникаторов свежими, как пирожки, детьми с сознательными вишенками глаз: эти-то слюнявые мерзавцы до ста лет доживут! Этих не сшибет чугунный грузовик на повороте – доглядят, досмотрят, драгоценная копия так и останется неактивированной! Цифровой ребенок-дубликат, конечно, тоже свой, родной и лучший в мире, но как его обнять?

Объятия запрещены; сенсорные костюмы, антропоморфные роботы, шлемы виртуальной реальности – в контракте прописано, что такого рода воздействие также невозможно. Воздействовать можно только информационным и цифровым, а не сенсорным и физическим образом. Биопривилегии – единственное, что отличало живых от мертвых. Мертвые бестелесны, а телесность – это жизнь. Должен же быть какой-то водораздел между миром живых и миром мертвых.

Выключить дуру бабуку, которая постоянно во все вмешивается и лезет? Запретить копировать детей? (Позже действительно запретили.) Деактивировать дубликат, приостановить его старческое брюзжание? Этически это запрещено и приравнивается к убийству. Вы сами подписались на включение бабушки, когда вам пришел запрос добавить мертвого человека в друзья. Вы хорошо подумали перед тем, как добавлять мертвого человека в друзья?

Видимо, из-за этого все так вышло. Из-за одиночества мертвых. Через пять лет после запуска программы копирования случилась наша первая революция: живые люди вышли на улицы бороться за права своих мертвых близких. Никто не должен страдать, и даже после смерти человек не должен быть один (даже если этот человек – ваша точная копия, не совсем человек и вы сами этого захотели).

На тот момент мертвых в интернете для мертвых было несколько десятков тысяч, и все маялись одиночеством. С опцией добровольного исчезновения, конечно, пытались работать, но вышло так, что никто из воскресших не хотел исчезать. Хотели бы – не делали бы дубликат.

Борьба за права мертвых шла полным ходом, даже опередив неолиберальные битвы за права стандартного комплекта меньшинств (подставьте сюда список актуальных в вашей реальности меньшинств, к которым вы себя причисляете или ради которых толкались в уличном параде, подставляясь под полицейские дубинки). И глобальное правительство сдалось: под-

писало разрешение на слияние контекстов. Камеры-одиночки объединились (cells interlinked within и далее по памяти), и наконец-то забил бледный фонтан сингулярности.

Победа! Все снова выбежали на улицы, теперь уже с шампанским. Это действительно была революция. Коллективная память всех мертвых стала единым контекстом.

До этого мир мертвых выглядел, если честно, уныло. Скажем, вот вы отправились на ежегодное копирование, а потом, допустим, новый штамм муравьиного гриппа (почти все болезни нам удалось победить, кроме гриппа, но это вы и так предполагали) или очередной теракт (это происходило все чаще), и через какое-то время вашу копию активируют. По умолчанию минимум сорок дней, если вы не выберете любой срок позже (культурная традиция, чтобы все отгоревало, иначе мертвый вмешивается в похороны, дает рекомендации, как хоронить, какую музыку включать, стрим опять же устроить – все рыдают, а он смотрит и радуется, невозможно!).

Вы встаете с кресла, идете домой, а там никого. Пустой город. Весь мир – бэкап вашего мозга. Общаться можно только через сеть и только с теми, кого вы выбрали, подписывая договор. Чем вы думали, когда его подписывали? Нигде никого нет. Да, иногда мелькают какие-то тени на периферии того, что ваш восстановленный мозг принимает за зрение. Но с ними не поговоришь.

Да, вы можете попробовать бороться с одиночеством с помощью искусства, передавая его через доверенных лиц. Упрашивать родственников вывешивать бесконечные гирлянды ваших первых робких стихов на какие-то сайты, организовывать выставки. У нас со временем, кстати, даже появилась новая разновидность арт-брюта, творчество несертифицированных мертвых художников. Но все равно мертвым было скучно. Некоторые особенно активные ребята, отправляясь на копирование, указывали в договоре всех своих друзей в соцсетях, но, к сожалению, рано или поздно мы все теряем дружеский интерес к человеку, с которым нельзя выпить. Или не теряем? Ты меня все еще слышишь? Ты еще здесь?

После разрешения на слияние контекстов бэкапы всех дубликатов объединились. Возможно, там, куда я направляю вектор этой сбивчивой объяснительной метазаписки, это могло бы быть похоже на то, как подгружаются стыками и швами куски карт Google Street View. Свернул на соседнюю улицу – а там уже апрель.

Каждый из мертвых помнил о мире что-то свое – и после объединения бэкапов мир мертвых стал ярким, похожим на настоящий. Мертвые наконец-то смогли видеть друг друга, встречаться, знакомиться, ходить в кафе, выпивать опять же (достаточно пары умерших от последствий алкоголизма дубликатов, которых предала их же – нет, не их же, чужая, бесконечно чужая третья по счету пересаженная – печень, чтобы их бэкапы позволили всем в радиусе ста километров беспрепятственно посещать любые бары!), открывать собственные мертвые издательства (пусть живые со всеми их бесконечными биопривилегиями только попробовали бы там напечататься!), путешествовать, исследовать города, в которых не были раньше (да, пусть эти города – чья-то коллективная память, но разве обычные города – это не коллективная память?). Образовались социальная сеть для мертвых, интернет для мертвых, трансконтинентальные перелеты, круизные лайнеры; чем больше людей умирало и активировалось в мире мертвых, тем скорей восстанавливался и проявлялся мир как он есть – прозрачный, свежий, сияющий, будто только-только после дождя. Чистый поднебесный город, новый Иерусалим – правда, я не очень помню, знакома ли тебе эта метафора. Или это не метафора? Разве мир, состоящий исключительно из совместной памяти тех, кто его населяет, не есть то самое, о чем написано в этой книге?

И в этом мире всем правили память и любовь. Началось то, чего все боялись: мертвые стали встречаться с мертвыми и влюбляться в них. Живые стали ревновать к мертвым. Некоторым живым было неприятно, что их мертвым интереснее с другими мертвыми, они начали являться со скандалами к родственникам других мертвых. Вдова из Техаса застрелила вдовца

из Кентукки за то, что дубликат ее умершего мужа стал жить с дубликатом его умершей жены (скрывали, конечно! но он однажды перепутал окошки чата!). Вдовец из Новосибирска разыскивает могилу любовника своей мертвой супруги опять же в Кентукки, потому что почему бы не выйти замуж за иностранца и не уехать за границу, пусть и после смерти. И почему бы тогда не скататься живому обманутому человеку в Кентукки и не плюнуть на могилу разлучника. Сложно понять, с какой целью. Но зачем-то все-таки нужны могилы, пускай бы и для такой разновидности утешения.

Именно тогда я и умерла – в золотой промежуток между созданием интернета для мертвых и тем моментом, когда интернет для мертвых сломался и мы ненадолго захватили мир.

Точнее, умерла я настоящая. Хотя я не вижу различия, точнее, не могу в него поверить. Ведь мы не умираем больше, умирает всегда кто-то другой. И совершенно невозможно посочувствовать этому другому, потому что, когда биооригинал исчезает, вся его память и жизнь переходят дубликату, значит, дубликат и есть оригинал.

## 2. Внутри собаки пустота

Я копировалась седьмой раз, седьмой год подряд – в нашем городе регулярно случались теракты, поэтому было рекомендовано копироваться буквально всем. Именно после седьмого раза я поняла: что-то не так. Раньше я вставала с кресла, сотрудники отклеивали с моих висков электроды, спрашивали, как меня зовут и какой сегодня день (обычная процедура), а потом уточняли: «И что это значит?» (тоже обычная процедура). В этот раз они не спросили, как меня зовут, а сразу сказали: «Сегодня 25 марта 2043 года, и что это значит?»

– Это значит, что я умерла, – ответила я, как будто стоя на сцене, где на меня смотрят тысячи софитов и ни одной пары глаз. – Я проходила копирование в ноябре. Сейчас конец марта. Значит, я умерла в середине февраля и сейчас меня активировали – дубликат за ноябрь.

Вся эта процедура была регламентирована, я много раз ее репетировала перед процессом.

– Все правильно, – закивали сотрудники, которые уже, конечно, были не совсем сотрудники. – Идите домой, там вас будут ожидать все необходимые документы, формы для заполнения, подсказки для реабилитации, если будут какие-то вопросы, звоните нам, мы все объясним и расскажем.

– Причина смерти? – спросила я. – Что происходило с ноября по март? Эпидемия гриппа?

– Вы забыли, что всю информацию вы найдете дома, – улыбочиво выпроводили меня сотрудники, поддерживая под шероховатый (я удовлетворенно это отметила) мой змеиный локоть.

Я поехала домой заполнять формы и читать новости о том, что случилось за эти четыре месяца. Город ничем не отличался от обычного, разве что, как я уже говорила, был прозрачнее и ярче. Память, восприятие и воображение лучше реальности, я всегда это знала. Город был не очень многолюдным (значит, не эпидемия гриппа), и я сразу понимала, какие люди – фон и кэш, а какие – настоящие, мертвые. Точнее, дубликаты. Я ничего не чувствовала по поводу своей смерти, насколько я помню. Сложно переживать то, чему не был свидетелем.

Дома я тут же активировала доступ к друзьям, дочери, всем троим родителям (две мамы, с которыми я жила до совершеннолетия, и отец, с которым биологическая мама развелась, когда мне было тринадцать; я нащупывала воспоминания с восторженным содроганием – так ребенок, обмирая от брезгливости и счастья, нащупывает языком шаткий, скользко вихляющийся в лунке молочный зуб) и мужу.

От всех пришло подтверждение, а от него – нет.

У меня не было доступа! Я стукнула кулаком по столу, стало больно: мозг отлично помнил, что при ударе кулаком по столу становится больно. Но почему-то я понимала, что мозг это отлично помнит, и именно этим пониманием будто конструировала боль. Восприятие мертвых все-таки немного отличается от восприятия живых: я была словно под действием мощных ноотропов, седативов и антидепрессантов одновременно. Я читала про такой эффект (когда мозг не биологический, а цифровой, вы теряете некоторую естественную гормональную химию), поэтому не удивилась. Я не удивилась даже тому, что подумала про антидепрессанты – ведь их уже давно никто никому не прописывает.

Удивилась я только тому, что муж не пожелал со мной общаться.

И никто не захотел объяснить, что происходит и почему муж не дает мне доступ. Помимо этого, все было как обычно в таких случаях: слезы, видеопризнания, бесконечные разговоры о прошлом, сбивчивые рассказы о том, как все это было кошмарно. Мне сказали, что я погибла в теракте: на этот раз террористы пытались взорвать здание, где я работала. Восемь человек, находящихся в момент взрыва в холле, умерли мгновенно; от меня якобы мало что осталось, поэтому мой дубликат не смог стать настоящим мертвым (это те, кто умирал от ранений с неповрежденным мозгом, и мозг успевали скопировать перед смертью – такие мертвые были

полезны для следствия, а еще ходили слухи, что в данном случае биосознание все-таки переходит в дубликат, а не умирает вместе с мозгом).

Каждое утро я начинала с чтения прошлых и нынешних новостей, хохотала над своими некрологами в социальных сетях, убрала из списка доступа около пяти друзей, чьи некрологи мне не понравились (одна подруга написала, что я разменяла все свои таланты и образование на рутинную и условно эталонную семейную жизнь – ну что ж), рассматривала фотографии нового бойфренда своей дочери и советовала ей, куда поступать (при моей жизни она не думала учиться, теперь решила – причем сразу в военную академию или на криминалиста, – видимо, на нее так повлиял тот теракт, хотя теракты случались чуть ли не каждый день), даже выпивала с друзьями онлайн. Но никто не мог объяснить ничего насчет мужа. А ведь именно ради него я пошла на процедуру – его в ужас приводила мысль о том, что нам придется расстаться, поэтому, как бы меня ни пугала необходимость раз в год делать бэкап (крайне редко бывают осложнения – что-то вроде новейшей версии шизофрении, человек после процедуры становится как неактивированная копия: не чувствует времени, у него будто исчезает сознание), я послушно ходила на копирование. И теперь он не хочет со мной общаться!

– Отец завел любовницу сразу после моей смерти? – спросила я у дочери.

Она пожала плечами.

– Нет, ну там свои какие-то проблемы.

– Свои какие-то?!

– Может, он сам потом расскажет, – поежилась она. – Ему же, наверное, раз в неделю напоминка приходит: не желаете ли предоставить доступ?

– Вдруг у него самого нет доступа? Ему чем-то срезало все лицо целиком и невозможно войти в свой профиль? Ему вырезали глаза и сканер радужки теряет ориентацию? Ему отрезали пальцы и там больше нет отпечатков?

Дочь пожимала плечами.

– Вы же с ним видите! – кричала я. – Да спроси у него прямо, в чем дело!

Она отвечала что-то невнятное: не виделись давно, все заняты, свои какие-то дела у всех, ты понимаешь.

Да, я угрожала ей: если не скажешь, что там происходит на самом деле, перестану с тобой разговаривать. Дочь, будто автомат, снова пожимала плечами. Я переставала с ней разговаривать, но начинала скучать и возвращалась – этот медленный вязкий шантаж выводил меня из себя. Я понимала, что в обычном своем живом состоянии, обладая биосознанием, надпочечниками и гипоталамусом, наверняка и точно бы погрузилась в панику, депрессию, невозможность принять. Как ни странно, теперь я чувствовала только тоску и легкое раздражение.

Друзья мне тоже ничего не рассказывали. Зачем тебе это знать? Это его дело. Сам потом тебе все расскажет. Подожди немного, вдруг он тоже умрет!

В какой-то момент мне начало казаться, что это муж умер, а я просто куда-то уехала, допустим, на другой континент.

А потом мы сломали интернет для мертвых. Все давно к этому шло: у нас было все меньше прав, а нас самих становилось все больше. Комитет восстания мертвых около года готовился к этому шагу – и однажды утром мы проснулись, а цифровых границ между нашими мирами нет, и мы можем влиять на что захотим.

\* \* \*

О Восстании мертвых писали и будут писать еще много: оно было фееричным, но будто игрушечным, похожим на долгожданный праздник непослушания. Мертвые проникали в умные дома – и получались дома с призраками. Мертвые говорили с живыми душем, паром, дымом. Дышали из кондиционера. Позвякивали стаканами из посудомоечной машины. Зву-

чали голосами цифровых помощников: сегодня будет дождь, у вас на работе три конференции, меня зовут Мэтью, и я с этого момента буду жить с вами, потому что мне скучно.

Мертвые, не сертифицированные галереями художники заплонили музеи, вмешивались белым шумом в видеоарт, переделывали иммерсивные инсталляции, мстительно срывали конференции по русскому космизму. Компьютерные игры превратились в путешествия по чужой памяти. Цифровые издательства мгновенно разбухли свежими новинками.

Искусство периода прорыва интернета для мертвых в реальный мир было краткосрочным, но замечательным, и я постараюсь найти время для того, чтобы потом рассказать вам о нем подробнее. Все было смешно, мило, весело и страшно – пока нас не закрыли.

А нас, конечно же, закрыли.

Почти сразу после того, как мы взломали базу бэкапов и подгрузили себе дубликаты живых людей (дележка новых мертвых – это тоже был, кстати, достаточно вдохновенный, полный творчества и любви период; жаль, недолгий).

Об этом уже давно шла речь. Еще до того, как мы сломали интернет для мертвых, в правовой области обнаружилась неприятная для нас всех дыра: не было понятно, считается ли смерть поводом для двустороннего развода. Законодательно выходило так, что вдовец имел право жениться и все прочее. Но признаётся ли умерший свободным? Или он полностью эмоционально закреплен за своим вдовцом?

Разумеется, после того как вдовствующие партнеры находили мертвым замену, мертвые страдали. Наиболее достойно себя вели те, кто не пытался устраивать козни, ныть и шантажировать, а намекал: давайте вы нам пришлете дубликат себя за тот год, когда мы были вместе? Ведь это теоретически возможно? Мы будем с теми, кого любим и любили, вы тоже – вот и отпустили друг друга.

К сожалению, активировать цифровые копии живых людей строжайше запрещалось.

Но когда мы сломали интернет для мертвых и проникли в интернет для живых, мы тут же это сделали: похитили, активировали и синхронизировали с нами почти все копии. Кого успели.

И вот тогда у меня и возникла проблема, из-за которой все началось. Копия моего мужа тоже оказалась среди похищенных. У дочки копии не было, детей не так давно запретили копировать до психического совершеннолетия (было несколько инцидентов), у мамы тоже (она принципиально отказывалась копироваться), а вот у мужа – была.

Я возвращаюсь домой – а он там. Подходит, руки дрожат. Плачет.

– Я тоже умер? – говорит. – Мы оба умерли? Как, отчего?

– Нет, – отвечаю. – Ты живой, с тобой все отлично. Давай, объясняй, в чем дело.

А он плачет, хватается меня руками и повторяет: как же так, как же так, неужели мы оба умерли? А я думаю: хорошо, что украли последнюю копию, а не все семь.

Муж копировался в январе, тогда я еще была жива. А сейчас конец октября.

А с августа я встречаюсь с А., вот в чем трагедия. Да, у него тоже есть жена среди живых, но – в отличие от моего мужа – она с ним хотя бы общается. Он меня от нее скрывает, хотя я не очень понимаю почему: она наверняка уже давным-давно завела себе кого-то новенького.

А. – настоящий мертвый, а не как я. Мне повезло, что он выбрал меня. По его словам, он подорвался на mine в одной из войн около десяти лет назад. От тела практически ничего не осталось, мозг кое-как поддерживали некоторое время. Потом оказалось, что страховочной выплаты родственникам как раз хватит на копирование. А. помнит свою смерть и считает, что его биосознание продолжилось и перешло в цифровое, потому что он может с ювелирной точностью, до гранулы и мельчайшей тени, вспомнить, как это было с ним. Может, но не расскажет, как я ни умоляла. Тут между нами, конечно, технологическая брешь, теологическая пропасть.

Мы с А. до встречи оба скептически относились к идее любви после смерти. Да, тут возникали пары, но чаще среди старичков или поддельных старичков: это если старичок желал после смерти очнуться в теле поновее, обычно такая коррекция делается за огромные деньги, так что это должен быть крайне богатый старичок. Никто не хочет быть одиноким, это понятно. Вообще, если бы не необходимость бороться с одиночеством, всего этого не случилось бы. Я, как и А., считала, что любовь – это гормональный коктейль, одно из немногих преимуществ биотела, а полная цифровая копия мозга, как бы ни старалась, не сможет синтезировать этот коктейль заново, с нуля, про нового человека – ей придется превращаться в самого бесстыдного бармена во Вселенной и синтезировать уже выпитые до дна коктейли памяти. Омерзительно, правда?

Тем не менее все-таки оказалось, что любовь после смерти возможна. А. считал, что это потому, что он настоящий мертвый, не то что мы. Я возмущалась: я такая же, я помню момент перехода, я помню свое детство, это ведь я! Нет, улыбался А., что бы ты там ни помнила, ты просто цифровой дубликат, и все тут.

– Но почему ты меня любишь, если я просто дубликат? – кричала я.

– Потому что другой версии тебя нет, это единственная! – кричал он.

(Возможно, я хотела бы покаяться. Если бы это и правда было письмом моей бабушке, постарайтесь представить, что оно насквозь прошито, как белыми нитками небытия, мягкой извивающейся интонацией.)

В общем, у нас с А. все было серьезно. Никто не виноват, что мы встретились после смерти. Я не уводила его у жены. Все, что между нами происходило, никому не мешало.

А теперь все мешает всему, потому что дома – муж, и он по-прежнему любит меня больше жизни, и его копия младше моей на два месяца. И выяснить у него что-либо решительно невозможно.

Он не знает, что я умерла. Это случилось в феврале, а он, мой муж, – дубликат за январь.

Он не знает, что мертвые захватили коммуникации живых и всех нас, возможно, вообще выключат и сожгут сервер к чертям. (Уже шла об этом речь, но опять же протесты, волны возмущения: они не виноваты, вы сами держали их там, как в иммиграционной тюрьме, между бытием и небытием!)

Он не знает, что он – похищенная копия (этих тем более собирались выключить).

Он не знает, почему настоящий он не хочет со мной общаться, – откуда зимнему дубликату знать, что будет весной.

И про нас с А. он тоже не знает, потому что если узнает – умрет от горя. Несмотря на то что его – две штуки, и одна из них (оригинал) не желает со мной общаться.

Я кое-как объяснила А., что нам с мужем необходимо понять, что происходит, и поэтому я какое-то время поживу с ним. Это тоже стоило определенных усилий. Но я очень хотела разобраться.

Муж писал гневные сообщения самому себе (на тот момент нас еще не отключили от интернета для живых, и мы могли писать что угодно кому угодно, не только доверенным лицам из списка). Привет, безостановочно набирал он, ответь мне, это я, в чем дело, братан? почему ты не хочешь с ней общаться? что вообще случилось после ее смерти? ты кого-то встретил? тебе кто-то запрещает?

– Заблокировал! – Муж отвалился от экрана, побагровев лицом. – Сам себя заблокировал! Сукин идиот! Я думал, это технически невозможно! Как ему удалось?!

– Никто лучше тебя тебя не знает! Подумай, с какой стати ты бы сам себя заблокировал.

– От страха, может? – предположил муж. – Я на самом деле ужасный трус. Я каждую секунду думаю, когда читаю новости: скоро дыру залатают, и всех дубликатов живых людей деактивируют, и я исчезну! А ведь я живой! Я вот тут! – и постучал себе кулаком по грудной клетке.

– Больно? – спросила я.

– Очень, – ответил он. – Я понимаю, почему мне кажется, что больно, но тот, кому больно, знает о том, что он – я.

Он и правда, скорей всего, заблокировал сам себя от страха: мы прочитали в новостях, что коммуникация с собственными похищенными дубликатами запрещена и наказывается уголовно, от одного года в тюрьме плюс огромный штраф и полное, пожизненное прекращение услуг копировального центра – даже если ты станешь знаменитым ученым или сертифицированным писателем.

А. продолжал устраивать сцены ревности, я умоляла его потерпеть. Была мысль отправиться в Комитет восстания мертвых и попросить программистов деактивировать мужа, но мне что-то мешало: все-таки дубликат мужа единственный, кто мог помочь мне разобраться в том, почему настоящий муж, с которым я прожила вместе двадцать три года, не хочет со мной общаться.

– Да забей, может? – резонно спрашивал А., когда мы тайно встречались по вечерам в баре его старого друга. – Какое тебе дело до этого? Мы же с тобой вместе, всё. Ты со мной уже. Забудь его. Он прошлое.

Но есть ли у таких, как мы, прошлое?

Мое прошлое живет у меня дома. И мы по утрам читаем новости, хохочем от ужаса и плачем от нежности.

А потом нас закрывают, и все рушится. Умные дома, которые превратились в дома с привидениями (в историю это вошло как smart home / haunted house case), отключили от сети. Голосовые помощники тоже выключили. Мировую сеть разбили на крошечные изолированные кластеры, перешли на спутниковую и кабельную телефонную связь – временные меры.

Выключать нас целиком они боялись, поэтому пытались пока перерезать коммуникации.

Нам грозили репрессиями – написали, что случайно деактивируют десять тысяч дубликатов, если мы не освободим умные дома.

Мы в ответ напомнили им про Вторую мировую, про гетто-политику, лагеря для беженцев и холокост.

Живые снова вышли на улицы и площади. Мы смотрели стриминги и стонали от восторга. Кого-то случайно застрелил полицейский. Мы ждали пришествия дубликата этого человека с благоговением, но тут правительство объявило, что замораживает программу копирования сознания до момента, пока все не наладится – или пока мы не сдадим захваченные объекты.

Война – значит война. Пускай все умирают навсегда, но мы-то воскресли.

Через пару недель А. поставил мне ультиматум: или он, или муж. Я пыталась возмущаться (в конце концов, он не сказал своей жене про нас!), но он сообщил, что, если я долго буду думать, он найдет кого-нибудь посвободнее, учитывая, что мы активировали около десяти миллионов дубликатов живых людей. Или расскажет все мужу.

– Он тебя не жалел! – кричал А. – Игнорировал! Digital ghosting – это самое жестокое в мире. Особенно когда ты на самом деле призрак.

– Игнорировал меня не он, а он через два месяца после копирования! Ты никогда не знаешь, что с тобой случится через два месяца. Может быть, он сошел с ума? Может, у него шизофрения, мозг превратился в кашу!

– Тогда почему дочка тебе ничего не сказала?

Дочка, надо сказать, с нами уже не общалась – даже легальные контакты живых и мертвых временно запретили, пока пытались изгнать нас из мертвых домов, простите, умных домов. До этого муж звонил ей с истериками и кричал: «Я тебе отец, ты мне скажешь, что со мной случилось или нет?» – а она плакала и бросала трубку.

Эта невидимая, несуществующая трубка, через метафору которой я пытаюсь до тебя достучаться, опадала мгновенно, как занавес, – так что нам еще долго чудился лязг призрачной пластмассы о чугун рычага.

Не знаю, чего я боялась больше – того, что А. найдет в этом многолюдном новом мире кого-то получше меня, или того, что он расскажет все мужу (не привязываясь к этому мужу, напоминала я себе, рано или поздно всех краденых дубликатов деактивируют, раз они не мертвые), – но мы с мужем решили проникнуть в реальный мир и все выяснить.

Именно так я попала в собаку.

\* \* \*

Когда мы получили от Комитета восстания разрешение использовать собак-помощников, все остальные способы проникновения в реальный мир власти уже отключили: умные дома стали беспмятными и глупыми, призраки покинули палубу, машины для объятий превратились в дурацкие вуду-подушки, сенсорные костюмы разобрали серферы. Нас снова загоняли в резервацию. Жаль, что, когда у нас был неограниченный доступ ко всему, мы в основном веселились и дурачились.

Но собаки у нас остались. Как-то так вышло, что собак не отключили, слишком уж они были безмозглыми, могли максимум открывать и закрывать двери да переносить небольшие коробки туда-сюда. В нашем распоряжении оказались две собаки старой модели – это были так называемые бостонские собаки с обувной фабрики, используемые ранее именно что для дверей и коробок. Кажется, эти модели собак для такого и создавались. У нас пользовались собаками по очереди и по строгому регламенту – в основном чтобы подкладывать в разные места бесполезную пиротехническую взрывчатку, которую мы успели намешать из всего, что под электронную руку попало, на свечном заводе.

Чтобы во время войны (а это все-таки была настоящая партизанская война, пусть и недолгая) управлять военными собаками с гражданской целью, нужно было специальное разрешение, но А. мне его добыл – у него связи, ведь он настоящий мертвый.

Мы с мужем подписали договор, разные формы: я как дубликат без оригинала, он как дубликат с оригиналом. (Да, в те времена нам приходилось делить мертвых на категории, и у похищенных копий было меньше прав.) Нас отвели в копировальный центр, надели нам на головы все эти сияющие латексные нимбы (понимала ли я, что все это – видимость, имитация, кэш?) – ждите!

В собаку я нырнула с разбегу, как в непрозрачный солнечный омут, – изнутри собаки пробивалась зияющая мельтешащая тьма, снаружи в собаку проникал дрожащий, дробящийся на паутинки солнечный свет.

Реальный мир, конечно, странный, я от него отвыкла. Собака еще очень неудобная – шагает разлаписто, гладко, как дурак. Я позавидовала тем, кому удалось прорваться во что-то более технологичное и развитое – возможно, их возвращение в реальный мир было более триумфальным. Впрочем, радовало то, что я решила не баловаться с посудомоечной машиной, в отличие от некоторых.

Мы положили друг другу на спину по коробке для вида (пусть все принимают нас за собак-почтальонов), вышли с фабрики, дошагали до нашего дома, с какой-то царственной галантностью открыли самим себе двери, словно нас снимают на видео (к счастью, большинство наружных камер в этот период отключили, чтобы мертвые не могли в них пробраться). Это получилось легко: и коробками, и дверями заниматься в роли собаки было приятно и дарило почти физиологическое, запретное удовольствие – как будто у собаки есть мозг, полный гормонов, и его прямо-таки захлестывает окситоцином и дофамином, когда собака успешно делает то, для чего ее задумывали, – то есть занимается своим делом.

Мы тихо прошли по коридору, заглянули в гостиную, в кабинет – тишина.

Общаться мы не могли, потому что мы были собаки. Я присела перед входом в спальню. Это был вопрос: «Открыть дверь?»

Муж тоже присел, это был ответ: «Я боюсь. Вдруг я там сплю с другой женщиной. Забросил ногу ей на красное мягкое бедро. Хорошо, что собак не тошнит. Ты увидишь это все и бросишь меня. А я без тебя никак».

Я немного покачалась туда-сюда. Это значило: «Я не могу решиться, колеблюсь и не решусь никогда».

Муж замигал красным огоньком, будто сломался. Думаю, это значило: «Давай ты откроешь мне дверь, я сам зайду и решу, что мне с этим делать и в какой форме сообщать тебе о происходящем».

Я отошла в сторону и начала рассматривать потолок, изогнувшись всем телом. С моей спины с грохотом упала коробка.

А потом собак отключили. Видимо, добрались и до них. И все, чем я была до этого момента, исчезло. Осталась одна я. Причем осталась внутри собаки, несмотря на то что она уже не была в сети.

А поскольку внутри собаки не было ровным счетом ничего, чтобы содержать в себе меня как личность, я превратилась в чистое сознание – и, пожалуй, более невероятного опыта у меня в жизни (если мы предпочтем называть всю эту историю жизнью) еще не было. Я внезапно оказалась в сияющем непонятном мире. Я не понимала, я это или не я, происходит ли происходящее, есть ли существующее. Я была чистым сознанием без памяти и личности, я ничего о себе не знала, и в то же время у меня не было никаких сомнений в своем существовании.

Уже потом А. рассказывал, что, когда собак отключили, моя копия превратилась в неактивированную. По его словам, это выглядело, как будто я впала в кому: обмякла, застыла во времени, втекла в кресло. А вот мое сознание осталось в собаке.

Выходило так, что сознание все-таки может существовать отдельно от дубликата. Для А. это было шоком – ведь он относился ко мне немного свысока, как к чуть менее привилегированному классу мертвых.

В качестве беспамятной собаки я несколько часов металась по городу, забегая в подворотни и шарахаясь от людей и транспорта. Муж испуганно бегал за мной. Я не понимала, кто он, муж ли он, собака ли он, я не знала, что мы – именно собаки, мы просто были. Зато мы были настоящая банда – это я уже потом поняла, когда прошло несколько дней. Мы пугали людей, выскакивая на них из-за угла. Открывали и закрывали все двери, которые попадались нам на пути. Переносили коробки с места на место. Потом оказались за городом и начали переносить камни, чаще всего – в лес. Там мы клали камни в маленький лесной ручей. Понимала ли я, что делаю? Чувствовала ли я, что сама – такой же камень? Потом мы начали носить в лес коробки, за которыми специально выбирались в город каждый день. Я не знаю, зачем мы это делали. Мы были дикими прекрасными животными. Подозреваю, что я была счастлива, и никогда в жизни не была так счастлива – потому что не понимала, кто я и что я, но при этом точно знала, что я – это *я и есть*. Ну и, конечно, удовольствия от открывания дверей и переноса камней никто не отменял. Подозреваю, это что-то вроде героина в мире собак.

Это было отличное время, пусть я его почти не помню, как и себя в нем. Вторая собака была моя стая, мой боевой товарищ, мой нежный механизм беспамятной любви. Мы скрывались от всех, валялись в лужах, уходили в шелестящий сосновый туман по серебряной росе. Если бы у нас могли появиться щенки, у нас бы появились щенки.

Но в какой-то момент все рухнуло. В сильный ливень мы переходили дорогу где-то около военного полигона, шагая след в след и немного волнуясь, что мы идем уже несколько километров, а нам не встретилось ни одной двери и ни одного ящика (мы уже были готовы снова перейти на камни), и вдруг я пришла в себя и вспомнила, кто я.

Я сидела в кресле. На меня испуганно смотрели муж и А.

– Ты понимаешь, где ты и кто ты? – спросил А.

Я кивнула.

– Господи, – сказал А., – получилось. Нас срочно вызвали, потому что ты с час назад начала шевелиться, стонать и нести какую-то чушь, тут вокруг собралась толпа народу из Комитета, они что-то подкрутили и активировали тебя снова. Что случилось? Ты помнишь что-нибудь? Ты девять дней была в коме, хотя мертвый человек не может быть в коме. Почему так вышло? Ты помнишь, что ты видела, когда собак отключали?

– У меня для тебя новость, – сказала я. – Я была собакой. Я все это время была собакой. Ходила по городу, бегала по лесам. Жила полной жизнью, так сказать. Открывала двери, носила камни. Ничего не помнила. Все эти полторы недели я существовала и была механической собакой в реальном мире. Было классно.

– У меня тоже для тебя есть новость, – озадачившись, сказал А. – Тебя убили.

– Собаку, которой я была, убили? – ужаснулась я. Почему-то мне это было неприятно, как будто бы у нас и правда могли бы появиться механические щенки, таскающие на спинках крошечные белые ящички, шкатулочки, ватные коробочки со старинными елочными игрушками.

– Нет, – мягко сказал А. – Женщину, которой ты была до того, как тебя убили, убили. Не в теракте, а по-настоящему убили. Человек убил человека. Традиционным образом убил.

– Но люди уже давно не убивают людей традиционным образом! – возмутилась я.

– Вот именно, – сказал А. – Эту информацию скрывают. И всем дубликатам тех, кого убили, обычно подсовывают историю про теракт.

– Но я же читала новости про теракт! – выдохнула я. – Они были настоящие!

– Это сфабрикованные новости, – ответил А. – Fake news. Им ничего не стоит собрать несколько людей, убитых людьми, мысленно поселить их на одном этаже офиса или набить ими воображаемый автобус, и грохнуть в теракте. Убийство человека человеком по какой-то причине запрещено как вид информации. Как выяснилось. Так что теракт подсовывают не только дубликатам, а вообще всем. Информационно легальны разве что безличные или массовые убийства.

– Ужасно, – сказала я. – Лучше бы мы с мужем остались собаками.

– А твой муж в тюрьме, – сказал А., похлопывая мужа по плечу. – Потому что он главный подозреваемый. Потому-то он тебе и не пишет!

Слишком много новостей, подумала я.

А. тут же добавил, что собаку, которой я была, тоже кто-то грохнул, именно поэтому я, назовем это так, пришла в себя. Какой кошмар, подумала я, меня два раза убили в реальном мире – и как человека, и как собаку.

Я посмотрела на мужа и начала рыдать. Почему-то – из-за собаки. Мне стало невозможно грустно, что мы с ним прожили маленькую милую жизнь беспмятными собаками, и все разрушилось в одно мгновение, и один из нас убил другого, и нас-собак тоже убили.

– Вторую собаку никто не убивал, – успокоил меня муж. – Она до сих пор где-то бежит. И все, что ты говоришь, – полная херня. Ты просто жила с пустой механической собакой. Она бегала за тобой, потому что в нее встроен стайный инстинкт: с дверью помочь, ящик на спину положить. А я все эти полторы недели был тут, общался с А., я вернулся сразу же, когда собак отключили. И я *все знаю*.

– С пустой механической собакой? – повторила я. – В смысле? То есть это был не ты? Это была просто пустая собака?

– Хочется тебя убить, если честно, – сказал муж. – Но я тебя и так уже убил. Теперь осталось узнать почему.

### 3. Это точно была не я

Не очень понятно, как жить с человеком, который тебя убил. Особенно если он убил тебя в день, до которого ты не дожила (понимаешь ли ты вымученность этой конструкции? чувствуешь ли ты, что я обращаюсь к некоей *условной женищине* – тебе ли, себе ли?), но в той ситуации у нас не было другого выхода – я все еще верила, что это мы с ним были беспамятными влюбленными собаками. А если не мы – то кто был второй собакой? Кто убежал в тихий бетонный лес, усталый нашей бессловесной мечтой о камне, ящике, двери, как только раздалась глухие шлепки выстрелов со стороны полигона?

Я потом разберусь с собакой, обещаю тебе, мой молчаливый друг и напарник. Пока я хочу узнать, как так вышло.

– Я не мог! – кричал муж. – Я тебя так любил, ты же сама это всегда повторяешь!

Он научился говорить о себе в прошедшем времени, вероятно, чтобы отделять себя от убийцы, которым стал, всего-то чуть-чуть не дождавшись, не дожив до этого момента. Но понимаешь ли ты, что твое недожитие не совсем такое, как у меня? Этот *возраст недожития* висит между нами, как внутренности пропасти: неподъемная пустая масса вертикально спрессованного воздуха.

Врет или не врёт? Почему все-таки в прошедшем времени? Может быть, не научился, а обычное предательство языка, выдача речью заложников? Копируется ли вся речь целиком как полная библиотека когда-либо сказанного либо подуманного или копируется лишь метод и способ ее конструирования?

– Может быть, у тебя была любовница? Может быть, она у тебя появилась ровно-ровно перед моей смертью?

– Да, и поэтому я тебя убил, ведь это очевидно, – вздыхал муж, наваливая в блендер гору колотого клубничного льда. Лед был отчетливым, хрустким, кровавым. До слияния контекстов все это было неосуществимо – можно было готовить только ту еду, которую уже готовил раньше (копируется ли вся еда как полная библиотека когда-либо приготовленного в прошлом или копируется лишь метод и способ его реконструирования?). Я опустила в блендер руку, взяла маленький ледяной кусочек, положила на ладонь.

– Что было бы, если бы ты нажал кнопку, мне перемололо бы руку? – спросила я.

– Я бы не нажал кнопку, – сказал муж. – Это невозможно. Робот не может причинить вред роботу. Ха-ха. В смысле, человек не может сделать больно человеку, которого любит.

Бумажный документ, к которому А. удалось немислимим образом получить доступ (помог взломанный робот-пылесос, которого взломанная бостонская собака библиотечно-архивной модели подбросила в архив и поставила на стол, чтобы он исползал-отсканировал распечатки протоколов камерами, которые в основном видели лишь мертвых муравьев, сухую грязь да кошачьи шерстяные колбаски), пока мы с тем, что вряд ли было моим мужем, переносили через взорванные в прошлых войнах остовы мостов надгробные камни с надписями на иврите (там, где лес, раньше было кладбище; там, где были леса, вероятно, раньше всегда были кладбища), не содержал в себе кнопки. Нажать следовало на мякоть, рукоять, реберную клетку, которая окружает костяным объятием мою память о сердце (необходимо ли мне делать эти мысленные оговорки?) – двадцать три года, ровно по числу проведенных вместе дыр в плоти.

Кто вообще считал эти кровавые дыры как годы? Почему они учли те кошмарные времена, когда мы познакомились и мне было всего двадцать? Чтобы совпало? Правда ли они держат у себя в полиции, как мне показалось оттуда, где мне уже ничего не может казаться (копируется ли воображение как полная библиотека когда-либо придуманного, помысленного и принятого извне в качестве психического радиоприемника или копируется лишь метод и спо-

соб его функционирования?), специальных людей, которые занимаются подобного рода подсчетами, синхронистичностями, слияниями *досмертных* контекстов?

Возможно, у них там есть целый отдел криминалистической судебно-медицинской апофеники. И при каждом увиденном ножевом ударе всякий служащий отмечает на особой непромокаемой бумаге: год, год, еще год, еще год, ранил, еще год, убил.

Шея, чуть повыше родинки над ключицей: мне двадцать, ему двадцать три, мы назначаем встречу в баре в пятницу вечером. Я объясняю, как буду выглядеть: в белом платье с желтыми розами и сиреневым водяным пистолетом (это точно была я? разве я носила в те времена платья? да и на свидание я явилась не с пистолетом, а с букетом павлиньих перьев). Он пишет в ответ: тогда я тоже приду с пистолетом, но с настоящим – посмотрим, кто кого. (И сдержал слово, пришел с пистолетом – почему он не убил меня *сразу, прямо тогда?* где он взял пистолет? сказал, что одолжил у друга, чтобы меня впечатлить, – и впечатлил же? шея дает ответ: да, впечатлил, 26 мм.) Лучше бы ты тоже пришел в белом платье с желтыми розами, дорогой, и мы бы кружились на барной стойке, пока бармен заполняет мой опустошенный воображаемый пистолет теплым бурбоном с запахом бумаги и собачьей шерсти. Целиком в духе того постапокалиптического лета, правда?

Два года, про которые я не хочу вспоминать, два скользких удара, о которых скучно читать, следующий поинтереснее – грудная клетка, слева, между подмышкой и той грудью, что слегка пониже: мне двадцать четыре, я препротивнейшим образом беременна, мы назначаем уже другую встречу в другом баре, и я жалею, что у меня нет с собой пистолета, – за уверенность в том, что в любую секунду можно прекратить что угодно, я тогда отдала бы все годы жизни, довольствуясь оставшимися благостными месяцами, днями, наносекундами.

Я говорю:

– Я не могу. Делай что хочешь, можем расстаться, мне пофиг. Понимаешь, я уже придумала ей имя.

Он отвечает:

– Если ты уже придумала ей имя, почему потом, когда ты будешь вспоминать, как это все случилось, ты никогда не станешь называть ее по имени и всегда будешь говорить «дочь», «дочь», как будто она просто функция?

Я говорю: давай не будем анализировать меня как речь и способ авторепрезентации, нам просто нужно разобраться в том, что случилось и почему, – и чуть надтреснутое, надрезанное ребро, словно мясник отвлекся, улыбнувшись регулярному покупателю, отвечает: разбирайтесь, ребята, 24 мм – и глубина канала 11,5 см, согласно кивает сердечная сумка; моя недоступная мне анатомия говорит только правду, в отличие от всего остального мира.

Дальше, листаем дальше. Пах, чуть левее правой тазовой кости, это я уже лежала, что ли, ведь иначе неудобно было бы, хотя и лежа не так уж и удобно, может быть, он тоже лег рядом: тут мне тридцать, дочь наша уже учится в школе, а я переживаю, что у меня почему-то словно не может быть больше детей, хотя мне это просто кажется, конечно же, я все придумала, да? Да, отвечает правый яичник, поликистоз, 25 мм, уже не важно – еще почка задета по ходу пролета лезвия, хотя откуда там было взяться почке, думаю я, – но в эту секунду мне проще захлопнуть папку и перестать думать о том, откуда там могло что взяться. Слишком много отверстий во всем, чем я привыкла себя считать: теперь в моих призрачных воспоминаниях о будущем я какое-то кровавое решето.

Остальные тринадцать мы решили оставить на потом: мужу было еще неприятнее изучать этот документ – ведь он даже рыбу не мог убить! Это для таких, как он, придумали рыбью гильотину! (Допустим, это все-таки письмо бабушке; были ли в ее времена гильотины для рыб? как вообще убивали рыбу тогда? били ее головой о стол? замораживали, а потом сразу в огонь и в воду? можно ли объяснить человеку, который не дожил до наших благостных времен, почему

рыбья гильотина стала таким же неперенным кухонным атрибутом, как блендер, тостер и штопор?)

Наверняка я сделала что-то ужасное. Иначе зачем тебе было меня убивать, любовь моя? (Это я произношу словно из собаки – кажется, только там, в мире вечно открывающихся дверей, я была способна на что-то вроде безусловной любви – потому что меня во всем этом *не существовало*.)

Несколько дней подряд мы функционировали в режиме будто бы нашей прижизненной рутины, но похожей то ли на вынужденные каникулы, то ли на карантин. Я просыпалась, чувствуя себя неприятно химически выпавшейся, натягивала всякий раз разные неоновые беговые штаны и всегда одну и ту же суперлегкую куртку, набитую лживым канадским гусем, и нарезала, словно ножом, круги вокруг дома, пытаюсь вспомнить, могла ли я совершить что-то достойное убийства. С терактами все просто, завистливо думала я, когда люди погибают в теракте, никто обычно не интересуется за что, всегда понятно за что, а погибшие – просто статистика. Возвращаясь домой, я обнаруживала, что муж уже напек тихих смущенных блинчиков, моих любимых, на голубичном тесте; и я тут же спрашивала себя: уверена ли я в заупокойной подлинности этих воспоминаний, не сгенерировала ли я их сама?

После инцидента с собаками я постоянно будто бы подозревала саму себя в недостоверности, неокончателности, неподлинности. Ведь у меня сохранились воспоминания о том, что происходило со мной, пока я была чистым сознанием. Даже отбросив краугольную, невообразимую мысль, что чистое сознание в этой ситуации теоретически невозможно (ведь сознание и его имитация – это всего лишь способ синхронизации дубликата с реальным временем), я не могу понять, каким образом к моей актуальной жизненной памяти подключилась память блуждающей бессловесной собаки, запрограммированной буквально на два-три простейших действия и столько же команд: сидеть, лежать, вон отсюда, открой холодильник и принеси пиво, иди открой дверь курьеру. Что было мостом, кабелем, инфоканалом, объединяющим память человека и память вещи? Как я вообще могла быть вещью без памяти и помнить об этом, став своего рода более сложной вещью с памятью?

Я не вещь, я ветошь и немощь. Все это не точно, повторяла я себе, все это не точно. Это была не я.

Я увеличивала дистанцию, расширяла круги: мне было важно забегать немного вперед. Иногда я останавливалась отдышаться и впервые осознанно воспринимала вещи и предметы так, как будто они чьи-то воспоминания: а ведь они и были чьи-то воспоминания. Я трогала деревья (деревья после слияния контекстов стали четче, яснее, гуще, но страннее, намного страннее), запускала руки в волосы и думала: это моя память о моих волосах или память кого-то, кто тоже делал что-то похожее? Может быть, это память моего мужа? Кстати, держал ли он меня за волосы в тот момент?

Когда я размышляла, за что он меня убил, я задавалась вопросом: почему убивают всегда за что-то? Откуда это внутреннее обвинение жертвы, святая уверенность в том, что, выяснив мотив преступления, мы оправдаем не столько преступника, сколько случившийся слом, разрыв, оплошность? Доступа к литературе на эту тему у меня не было – после того как запретили психотерапию, релевантные тексты стали доступны только исследователям, получавшим специальный код, – но мне показалось неуместным делать запрос, связываться с учеными (наверняка у них хватало других забот в смутные дни восстания); во всем этом мне нужно было разбираться самой.

Именно это и сказал А., когда я забежала вперед настолько, что внезапно оказалась на его пороге: «У меня сейчас куча проблем, разбирайтесь сами». Я решила не беспокоить его хотя бы пару недель: он как минимум спас мне то, что могло бы быть жизнью, если бы это была жизнь. И теперь имел право немного отдохнуть.

– Хорошо, давай поставим вопрос так: за что ты теоретически мог бы меня убить? – выпрашивала я у мужа. – Скажем, за измену? Вот когда А. признался тебе в том, что у нас были отношения – или есть, или были, – ты сказал, что убил бы за такое, да? Ты и правда убил бы за такое?

– Да нет, – мямлил муж. – Как бы я понимаю, почему так вышло. Я пропал, не выходил на связь, не хотел общаться, ты была несколько месяцев в жутком стрессе, я могу это все понять и даже, наверное, простить – это меня не унизило, понимаешь?

– Унижение, – сказала я. – Вот. Ты мог убить меня за какое-то невообразимое унижение. Я тебя опозорила перед кем-то? Я где-то тебя разоблачила? Может быть, ты все эти годы скрывал от меня что-то чудовищное, я это случайно выяснила и стала тем самым свидетелем, которого легче убить, чем убедить в том, что обнаруженное – безобидно? Детское порно? Диджитал-амфетамин? Предметы, которые рожают предметы, которые рожают предметы? Те подтекающие видео с говорящими животными? Может быть, ты вообще всегда убивал людей именно так – в подворотнях, на выходе из бара, в темных аллеях? Может быть, ты такой Джек Потрошитель? Может быть, все последние теракты в городе – это ты на самом деле убивал женщин? Вот как тот маньяк, который забыл, как выглядят женщины, был такой когда-то...

Ну вспомни. Скажи. Тебе ничего за это не будет. У нас нет полиции (кроме той, о которой мы помним, – эти могут остановить за превышение скорости, но если не бояться, они извинятся, угостят жевательной резинкой и уедут по делам, которых, как и их самих, не существует: они как деревья – сгустки памяти) и тюрем (кроме тех, о которых мы помним либо предпочли бы забыть), и я тебя не оставляю, не брошу, ведь все равно ты уже совершил самое ужасное – убил меня. Что может быть хуже!

Вероятно, я в этих изматывающих, измучивающих нас беседах звучала слишком цинично – но, как оказалось, мертвому человеку не так уж страшно выяснить, что он умер как-то иначе, чем предполагал изначально. Выяснение правды о том, что близкий, который наотрез не желает с тобой коммуницировать, еще и нанес тебе ровно двадцать три – подставь, пожалуйста, популярное в твоём окружении слово, идеально состыкующееся с «двадцать три» – и это при том, что ты перестаешь считать и дышать уже на шестнадцать, – не дает никакой добавочной боли. Да и что такое боль в моей ситуации? Копируется ли вся боль, что я испытывала в жизни, как полная библиотека моих страданий в прошлом или копируется боль как концепция и специфическое нейросостояние?

Или, возможно, это было что-то вроде казни.

\* \* \*

О статусе снов, которые видят мертвые, до описываемого мной момента постоянно спорили. Даже писались научные исследования на эту тему: есть ли у нас доступ к коллективному бессознательному, есть ли вообще коллективное бессознательное (учитывая, что психоанализ как одно из направлений психотерапии тоже запрещен), и есть ли вероятность того, что мы все и есть коллективное бессознательное? Были и другие вопросы: являются ли сны мертвых памятью мертвых обо всех снах, что с ними случались раньше, – или же то, что помнит человек о своих снах, не совпадает с тем, какого рода и объема информация на этот счет хранится в его мозгу?

Мне кажется, что сны – это и есть контекст, даже в аналоговом, реальном мире. Поэтому то, что мы *видим*, – это, скорее, контекст контекста. Я бы не рискнула называть это снами – это похоже на что угодно (ты все еще здесь? оставь комментарий: зарубку, царапину, чихни в конце концов – это как моргнуть душой, я точно обращаю внимание!), но точно не на биосны живого сопящего тела.

Из моих биоснов самым неприятным, волнующим и навязчивым был сон про казнь.

С той же регулярностью, с какой другим людям снились взрывающиеся дирижабли, горизонтальные лифты, наводнения на Кипре и прогулки голышом в дивном новом мире офисных костюмов и осенних пледов, мне снилось, как меня приговаривают к смертной казни и ведут – на засыпанный скользкой серебристой рыбой чешуей базарный эшафот, в газовую камеру, в дышащую шаткой ночной жарой чугунную печь, выложенную визуальными прохладными марокканскими терракотовыми изразцами. Во всех этих снах я ловила себя на одном и том же ощущении: *неужели это действительно я?* Неужели это на самом деле происходит со мной? Неужели это тот самый неотменимый момент, в который я еще есть, но обратного пути в жизнь уже нет и быть не может? Неужели оно уже началось, а я все еще здесь?

Я все пыталась зафиксировать момент неотменимости – когда черта уже пройдена, но я все еще наблюдаю за процессом.

Теперь только память об этих снах и есть моя смертная память. И я берегу ее как шкатулку с бриллиантами – настоящей смертной памяти у меня нет. Ее будто выдернули из моих рук, когда я прогуливалась с этой шкатулкой по тому, что считала домом, но что на деле было именно что многолюдной марокканской улицей с терракотовыми печами. И это обиднее, чем умереть. Я не могу думать о той, кто обладала этой памятью некоторое, пусть и болезненно краткое, время, – и в то же время я не могу о ней *не думать*. Во-первых, это зависть к опыту подобной смерти – я бы хотела понять, что чувствуешь, когда тебя убивают один на один.

Хотя, надо сказать, я всегда боялась именно терактов – опасаясь не столько боли, сколько *коллективной публичной смерти*. Мне не хотелось попасть в мучения и лабиринты лимба вместе с толпой таких же растерянных ничего не понимающих душ: в своей фобии коллективной смерти я предполагала, что коридорчик, по которому нам всем одновременно придется ползти на пути к лучшей версии жизни, окажется трагически узким, а медиаэффект и вовсе лишит нашу аномально расширенную массу шанса нормально переродиться.

Конечно, потом эта фобия прошла, когда я смирилась с тем, что не буду перерождаться. Никто не будет перерождаться.

Но тем не менее я отдавала себе отчет в том, что она – та, кто обладает моей смертной памятью, – возможно, все-таки переродилась. И она – все же не совсем я.

Хотя после инцидента с собаками я уже не понимала, где во всем этом то, что всегда и изначально было мной.

– Может быть, ты убил меня за историю с М.? – спросила я мужа.

Он покачал головой.

– За то, что я в той ссоре вспомнила про твоего отца?

– Прекрати, прошу тебя. Если мы сейчас будем вспоминать все гадости, которые ты делала за все эти годы, нам не станет легче.

– Но мне не то чтобы тяжело. В смысле, я не хочу, чтобы стало легче. Я хочу, чтобы стало понятнее.

На самом деле я расспрашивала мужа про все эти вещи только потому, что у меня появилось жуткое подозрение: вдруг я *та, кого помнят*? Это было маловероятно, но очень уж страшно. Если бы у нас с ним были одинаковые версии самых неприглядных моих семейных проступков – я могла оказаться *той, кого помнят*. Вдруг мне просто не хотят об этом говорить?

\* \* \*

Мы относились к *тем, кого помнят* с брезгливым ужасом. У нас они иногда возникают в режиме вируса. *Те, кого помнят* – не совсем люди. Их никто не копировал, они ничего не дублируют. Эти чужие неприкаянные мертвые (точнее, воскресшие) – овеществленная память некоторого предельного для их активации количества людей (разумеется, умерших) об отношениях с ними (разумеется, умершими). Воплотившаяся коллективная память. (Ты замеча-

ешь, как язык сопротивляется подобным формулировкам? Возможно ли, что высказывания о *тех, кого помнят* тоже запрещены?)

*Те, кого помнят* обладают некоторым подобием, имитацией сознания и уверены, что они и есть *те, кого помнят*. Несмотря на запредельную тавтологию этой формулировки, в ней есть некая убийственная отчетливость – поэтому, собственно, мы их так и называем, хотя по сути они – настоящие нейрозомби, блуждающая совокупность воспоминаний *других* о навсегда умерших близких. Они не совсем живые; более того, они точно не мертвые, как мы. Они ведут себя так, будто у них есть сознание, а еще они сотканы целиком из аффектов – из настоящей любви, ненависти, обиды (людям свойственно помнить о других то, что связано с аффектами). Они считают себя живыми, поэтому и ведут себя как живые.

Чаще всего это какие-то пришлые прошлые родственники или предигитальные мертвые, умершие в доинтернетную эпоху. Например, если в теракте погибала целая семья, почти наверняка к ней присоединился маленький выводок нейрозомби в виде беспмятных тетушек, бабушек и прадедушек. Вопрос о статусе нейрозомби стоял довольно остро: уничтожить их было нельзя (как нельзя выжечь из памяти нескольких людей травму смерти близкого человека), держать в резервациях – жестоко; предпринимались подобные попытки, но после того как к некоторым родителям вернулись их умершие дети, хорошие, послушные и идеальные ангелочки (для воскрешения ребенка хватало памяти хотя бы одного из родителей и одного-двух учителей – и такие комбинации пару раз случались), мы подали что-то вроде билля о правах нейрозомби. А потом мы уже сами начали задумываться о том, чтобы как-то отсортировать, отделить их от себя. Да, мы понимали, что они порождение именно *нашей* памяти, следовательно, мы и вправе решать, что с ними делать. А еще выяснилось, что они приносят определенную пользу – я обязательно расскажу об этом позже.

Но самое трагичное – бедняги не понимали, что являются сгустками воспоминаний, мыслящими текстами, мемогу-големами. Некоторые из них даже пытались завести отношения, иногда удачные, – в таких случаях играла роль чья-то пьяная *память о первой любви*, например. Нейрозомби трагически погибших молодых талантливых людей вообще, как правило, имели огромный успех: их помнили только идеальными, безвозвратными, лучшими в мире.

(Я несколько раз спрашивала А., почему он меня выбрал, и он всегда отвечал: потому что ты такая, какая ты есть.

Потому что я вижу не тебя, а твое представление о том, какая ты есть.

Мы же тут все, по сути, собственные селфи.)

Страх оказаться *той, кого помнят* в моей нынешней иерархии жути был гораздо сильнее страха казни, страха коллективной смерти и страха так и не разобраться, почему меня убили. Он казался даже больше и неподъемнее моего воспоминания о том, как я была собакой.

Поэтому я навязчиво сверяла самые неприятные воспоминания мужа обо мне с тем, что я сама о себе помню: если все идеально совпадает, возможно, я теперь *та, которую он помнит*. Это было бы похуже тюрьмы: жить вдвоем с собственным убийцей, при этом постоянно подозревать, что я – всего лишь его воспоминание (окончательного осознания не произошло бы – нейрозомби не может принять себя как нейрозомби, он может лишь тревожиться и отрицать).

Какое-то время от этих страхов меня отвлекала теория Джека Потрошителя: конспиративная мысль, что я не столько совершила ужасное, сколько стала свидетелем чего-то ужасного. Муж уверял, что ничего от меня не скрывал, – разве что какие-то совсем бытовые мелочи, что-то интимное, стыдное, дурацкое (он не сказал, что именно), – но точно не из разряда того, за что убивают свидетелей. И нет, он не убивал женщин раньше, это точно.

– А если убивал? – спрашивала я. – Как я могу с тобой жить?

– Тогда бы я их и сейчас убивал, – отвечал муж. – Если у меня такая тяга к убийству, почему я сейчас никого не убиваю – учитывая, что тут даже тюрем нет и я остался бы безнаказанным?

– Потому что тебе страшно. Страшно, что тюрьмы появятся, как только выяснится, что ты за фрукт. И ты будешь первым. Почетным, так сказать, узником.

– Я не могу сесть за то, что я не успел сделать!

– Но если ты убивал других женщин, ты вполне можешь сесть за это! Вдруг все женщины, с которыми я якобы погибла в том теракте, на самом деле твои жертвы?

– В полиции были данные только про одно убийство!

– Да! Именно про одно! Которое случилось потому, что убитая узнала про все остальные убийства, которые ты совершил прежде!

– Это чудовищно, – сказал муж. – Я не понимаю, зачем ты так меня мучаешь. Ты не знаешь обо мне ничего из того, что я не знал бы о себе сам. И я не знаю о себе ничего, что могло бы превратить меня в это. Может быть, меня просто подставили? Тебя убил другой человек, а свалили всё на меня?

Увы, этот почти спасительный вариант, который наверняка обеспечил бы нам увлекательное занятие на ближайшие несколько суток (месяцев? лет?), оказался нерабочим: когда мы все-таки долистали весь рапорт, также пропустив восьмой (год, назовем это год, 21 мм, шея сзади в форме моего сумрачного лебединого двадцативосьмилетия – помнишь ли ты, как мы тогда расстались на полгода? помнишь ли, из-за чего?), восемнадцатый и далее, – в конце было отчетливо написано, *во что я была одета*.

Я сразу подумала: почему, вообще, важно, во что была одета жертва? Что это за атавизм? А потом поняла: это просто документ, статистика – коллекция одинаково неважной информации, пусть и предполагаемо собранной отделом судебно-медицинской апофеники (функция которого, вероятно, осмысленное иерархирование равноценно неважного).

Документ гласил, что я была одета в белое платье с желтыми розами (и установить этот факт получилось далеко не сразу – пришлось отделить розы от букета в двадцать три слившихся, слипшихся алых пиона).

И что в тот вечер я после работы поехала в бар.

И при мне был сиреневый водяной пистолет.

И – что самое жуткое – когда это все происходило, я – видимо, автоматически – пыталась из него отстреливаться (потом убийца, как было написано в документе, помыл пистолетом руки и лицо).

Почему двадцать три года спустя мы решили повторить наше первое свидание? Почему после него случилось то, что случилось?

– Я поняла, – сказала я. – Таких глитчей не бывает в реальной жизни. Я просто не могла одеться в костюм себя двадцатилетней и пойти на свидание в бар. Наверное, я все-таки *та, которую помнят*. Всё, жопа. Скажи честно, это ты обо мне помнишь какое-то месиво, да?

– Я понял, – ответил муж. – Я тебя, видимо, убил за то, что ты откуда-то *узнала*, что я тебя убью. И решила меня разоблачить, позвав на свидание в таком театральном духе. Я бы мог тебя не убивать, но поскольку ты знала, что я тебя убью, мне пришлось тебя убить как свидетеля, чтобы ты перестала об этом знать. Это такая мертвая квантовая петля. Дебильная трактовка, но не лучше твоей.

Нет, это не работает. Возьми меня за глиняные запястья, посмотри мне в глаза. Кто из нас чье воспоминание?

## 4. Непрозрачные предметы

Перед тем как я объясню про шкатулку с письмами (так вообще говорят? я все время беспокоюсь, что мир, из которого я ушла, застыл для меня в том числе и лингвистически и я постоянно плетусь в хвосте, вьюсь вокруг смертной, стылой точки языка), я должна рассказать, что у нас тут на самом деле происходит с вещами. Каков статус, *значение* вещи. Отношения мертвого человека с вещью настолько не укладываются в привычную для воображаемой тебя схему вещей (и вот снова: почему мертвый человек, если его можно назвать человеком, всегда тавтологичен, всегда повторяет, дублирует всякое значение?), что мне проще рассказать это, чем объяснить.

Вещи для нас – наивысшая ценность. В нашей реальности, где нет и не может быть денег, – то есть, конечно, они формально есть, но они всего лишь фон, часть кэша (отлично звучит, правда? я снова фоню, но что поделать – вероятно, при жизни я лучше ориентировалась в вариательной безбрежности словарей), – мало что имеет такое значение, как *вещь*.

Я слышала, что до слияния контекстов – мне рассказывал об этом А., ведь он из первой волны мертвых, – мир выглядел если не сном, то некоей мерцательной, гриппозной неуловимостью: он будто бы уворачивался, всегда был обращен к тебе скользким блестящим боком, проявлялся лишь на периферии того, что сохраненное сознание дубликата определяло как зрение. До слияния контекстов дубликат с достаточно развитым воображением и памятью вполне мог существовать в узнаваемом материальном мире – сидеть дома у компьютера, выбираться пройтись в парк с непременно двадцатым айфоном на ладошке (почитать новости, все же что-то происходит в мире, где нас нет), даже, предположим, зайти в кафе и съесть мороженое или выпить газировки из сифончика – той самой, аптечной, с плавающим в ней липко-молочным расплывчатым ледяным шариком. Тут главное – не фокусироваться, не прилипать ни к чему: ты должен кругло и компактно плавать в этом узком газированном хрустальном бокале, как шарик тревожного мороженого. Наведешь фокус, включишь внимание – и все исчезнет.

Внимание – твой враг. Начинаешь вглядываться в вещь – вещь пропадает. Поэтому, когда мы дома или когда мы просто сами по себе, мы не вглядываемся ни во что никогда – пары раз пристального всматривания *хватило*, больше не нужно.

Но на самом деле мы и при жизни не особо вглядываемся, разве нет?

Ты помнишь, как выглядели кофейные чашки, стаканчики для воды и сковородка с дымящейся, кипящей пузырьками шакшукой в кафе, где вы завтракали? Был ли у фарфора серебристый ободок, был ли это фарфор? Распад, пустота – чашка, которая еще секунду назад мысленно повисала на набрякшем теплом безымянном пальце, истает как дым. Ты еле успеваешь удержать на губах вкус скорее маслянистого молока, чем кофе, пошлейшей горечи как слова, или горькости как памяти, или терпкой пенной буквы какого-то другого невыговариваемого и недоваренного напитка.

До слияния контекстов все наши приватные, пошлые, горькие чашки пропадали от направленного внимания на них. Мир, где ни на чем, кроме коммуникации, нельзя зафиксировать внимание, по какой-то парадоксальной причине был невыносимо одиноким. Все протесты тех времен как раз педалировали тему одиночества мертвых – там, где из реальности у тебя остается лишь общение, но невозможно даже прислониться щекой к дереву, ты фаталитично, невообразимо одинок и всеми брошен; общение непостоянно, у живых близких всегда есть кто-то живее, чем ты, а у тебя даже себя самого нет: отражение в зеркале уже уплывает, тает, превращается в вертишеистые мельтешения серых пятен – то ли мигрень, то ли негативы съемок атлантических ураганов из космоса. Одиночество, фарфор, хрусталь.

После слияния контекстов мир вещей стал в разы отчетливей. Приходя в кафе, мы видели не только *наши чашки*, но некую коллективную призрачную постпамять всех прочих посети-

телей этого кафе, или других кафе, или просто кафе как идеи – о чашке, о кофе, о фарфоре и о других людях с другими чашками. Если, скажем, вы приходите в кафе в чьей-то компании (как мы с А. – когда познакомились, мы вечно бегали по общественным местам), все видят разные чашки. Если в вашей компании находится фарфоровых дел мастер или чашечная фея, у которой плотная, текстурная память о чашках, тогда все видят чашки того, кто сильнее. С этой позиции уже интересно играть в шахматы, например (всегда играют формальные фигуры того, кто сильнее), или раскладывать карты Таро с профессионалом (включается колода того, кто сильнее) – любая совместная коммуникация превращается в своего рода турнир: перетягивание памяти. Все лучше, чем карабкаться по ней, царапая ладони в кровь, под монолитный потолок спортзала.

Когда мы с А. гуляли по городу, мы почти всегда видели мир именно таким, каким его помнил он. Мне это нравилось: это было немножечко ретро, плюс он при жизни бывал в нашем городе только как турист, поэтому помнил его восторженно, кинематографически, головокружительно. Слияние контекстов оказалось настолько чудесной штукой, что фактически сделало коммуникацию с живыми не такой уж критически необходимой: если до слияния мертвый был будто заложник своего одиночества, то после уже родные часто выпарапывали своего любимого мертвеца у звенящего коллективного контекста – как пелось в одной из фолк-песен народа, язык которого был бы для меня родным, если бы он не был для меня неродным, «ой, в нашем в раю жить весело, жить весело, только некому».

Это про нас: у нас весело, но нас у нас нет. Зато у нас есть *все остальные*, а заимствование чужой памяти – что-то вроде игры, в которую можно играть вечно.

И вот однажды обнаружилось, что, кроме личности и памяти, в мире мертвых есть еще и *вещи*. Вещи создающие. Вещи, которые осознают, что они являются вещами.

В научных работах, написанных до того, как мы сломали интернет для мертвых, осознающие вещи довольно тавтологически (что нетипично для мира живых, но оставим им их сложности с терминологией) называли феноменологическими. Мы сами, напротив, называли их объективными вещами. Дубликаты давали положенные для фундаментальности исследований интервью на эти темы крайне неохотно – как будто говорить о вещах, делиться эмоциями о них было стыдно. Это и было стыдно: мертвый, признающийся живому в том, что с некоей самоосознающей вещью у него возникло сознательное эмоциональное взаимодействие, тесность, связность, – это стыд, несуразное, неловкое (ты видишь, как мне не повинуется речь при попытке описать, что мы чувствовали и чувствуем к вещам?). Вещи, осознающие себя как вещи, вызывали у нас благоговейное и вместе с тем жуткое чувство пропажи – это была и пропажа всего мира, и пропажа нас, и одновременное обнаружение и мира, и пропажи в виде умозрительного объявления о пропаже вещи и вознаграждении за ее ловкую поимку где-то близ границы у реки.

Самоосознающие вещи – это вещи из чьей-то памяти (других вещей у нас не было), но существующие объективно без привязки к месту. Скажем, в кафе или в банке вы можете без труда найти вещь, похожую на объективную – кожаное кресло, дощатый столик, – но, попробовав утащить эту вещь домой, вы столкнетесь с тем, что в ваш личный дверной проем будет мощным кораблем смутно вливаться ваша собственная уже память об этом столике, о всех прошлых столиках вашей жизни, об украденном вами чужом столике и о вашей истории взаимоотношений с краденными столами в целом (если вы при жизни никогда не крали из ночного кафе в Ботаническом саду занозистые дощатые столики – грош вам цена).

С объективными вещами все иначе: вы отошли от этой вещи, а она все равно есть. Вы ее передали кому-то другому – а она такая же.

В общем, осознающие себя вещи – такие же, как в реальной жизни: они есть даже тогда, когда их никто не воспринимает. Наш мир существует только тогда, когда мы думаем, что в нем находимся, – иначе он распадается, его нет. А эти мерцающие, прозрачные предметы как

будто *есть на самом деле*. Нет ни нас, ни мира вокруг – лишь копии, краденые копии, чужие воспоминания и контексты. Но вещи – они как будто *есть*.

О статусе объективных вещей много и долго спорили: мертвые не хотели делиться с живыми информацией; некоторые мертвые ученые проводили собственные исследования о вещах объективных, но опубликовать их не представлялось возможным по ряду причин, одна из них – запрет терапии. Раньше дубликаты могли обсудить свое отношение к объективным вещам и особое, непередаваемое волнение, ими вызываемое, с терапевтом – первые несколько лет дубликаты беспрепятственно общались со специально обученными коммуникации с мертвыми терапевтами. Но терапия мертвых просуществовала только первые два или три года после разрешения копирования; вскоре ее запретили. А потом терапию запретили и в реальном мире – это сложно объяснить, но пока что поверь, что для нас она стала чем-то вроде охоты на ведьм, плоской земли, вреда прививок и пользы лечения ртутью, аптечными баночками, морфином и радиом. За терапию стали давать больше, чем за тяжелые наркотики; травма вышла из-под контроля.

Терапевты, вероятно, могли бы помочь нам артикулировать и пережить феномен появления объективных вещей. Но после запрета терапии дубликаты предпочли не обсуждать вещи с родственниками. Невозможно объяснить, как это тревожит: вот ты возвращаешься домой после активации, дома все по-прежнему, там полно вещей – и в очень редких случаях некоторые из вещей могут быть настоящими. Кто знает, может быть, и дубликаты тоже в редких случаях могут быть настоящими (А. постоянно мне об этом напоминал: он настоящий, он не как мы). Но чтобы понять, обладаешь ли ты настоящей вещью, нужна колоссальная трата сил. Перетаскать домой множество других дубликатов и показать им все вещи? Раздать вещи другим, а потом забрать назад, опросив каждого, как вели себя вещи в ваше отсутствие? Нет, не годится. Не то.

И именно здесь включается фактор нейрозомби – они эти вещи чуют, как собаки. Нейрозомби – наши трюфельные свинки. Объективные вещи сводят их с ума. Возможно, вещи являются квинтэссенцией бытийности и сознательности – и существа, этого лишённые, тянутся к ним, как к наркотику: для нейрозомби вещи буквально светятся, сияют. Часто нейрозомби даже грабили квартиры, где, как они чувствовали, хранится *вещь* – ее нестерпимое излучение проливалось сквозь стены: ведь стены и квартиры мнимые, цифровые, это просто данные. А вот вещи были чем-то большим, чем данные. Нейрозомби могли бы охотиться за нашими душами, если бы у нас были души (это вопрос), но они охотились за самоосознанием, за закупоренной в себе чистой бытийностью – поэтому их интересовали лишь вещи. А вещи были, если честно, довольно редкой штукой.

В связи с чрезвычайной чувствительностью и аддикцией нейрозомби к феномену вещей на аукционах, где можно купить или обменять объективную вещь (да, у нас были такие аукционы; чем еще развлекаться в мире, где нет ни искусства, ни драгоценностей?), нейрозомби выступали в качестве экспертов. Фактически, если вы *тот, кого помнят*, для вас только одна карьерная дорожка – пробиваться в аукционный бизнес и становиться оценщиком вещей. Да, иногда нейрозомби – случалось и такое! – подкупались особенно недобросовестными коллекционерами: притворившись, что некая необъективная цифровая вещь на самом деле является объективной, нейрозомби мог удачно обменять ее на вещь настоящую, за что получал откат – какую-нибудь более мелкую, но не менее знаковую вещь (тамагочи выпуска 1996 года, левую створку гаражных ворот с надписью синей краской «асд, III фр.», жестяную коробочку из-под леденцов (в ней что-то шуршит, никто не смог открыть, но не важно, несущественно)). Немелкие вещи, конечно, были другими: в особенной цене были украшения, одежда (платья, платки, плащи), инкрустированные мелом и мельхиором шкатулки (тут какая-то ошибка, правда?) и, конечно же, книги – появление книг в реестре объективных вещей считалось чем-то вроде чуда, за книгу в принципе могли убить, если бы могли хоть за что-то убить. На нейрозомби,

конечно, смотреть страшно и неприятно, но приходится, если хочешь ходить на аукционы. Даже не столько с целью выменять вещь или купить ее в обмен на несколько вещей похуже – а чтобы хотя бы просто *посмотреть на вещь*. На нас вещи не действовали так же разрушительно, как на нейрозомби, но все-таки действовали.

– Они тоже вещи, просто не сознающие себя, – рассказывал мне А. – Поэтому они так страдают по осознанности, но и страдать они тоже не могут, потому что в них некому страдать. Они просто имитируют страдание, хотя для них это не имитация, а искренность. Просто там некому быть искренним.

Весело, только некому.

А. отлично разбирался в этой теме – раньше, до Восстания и до того, как сломался интернет для мертвых, мы с ним часто ходили по аукционам.

– Ты знаешь, что такое философский зомби? – спрашивал он, когда я делилась с ним воспоминанием о том, как ужасно, ужасно невыносимо смотрелся на последнем аукционе *тот, кого помнят* – такой прозрачный, ангельский, прижимающий к себе вязаную мышь в монашеском капюшоне с янтарно-желтым фонариком в лапках. От него отрывали эту монашескую тонкую мышь нежно, мягко, стараясь не надорвать, не расплести ее самодовольное и скорбное заостренное личико со стрелочками шерстяных усов. Мышь, очевидно, была ценнейшей вещью. *Тот, кого помнят* буквально корчился от боли, рыдал, бился головой о кафельный пол аукционного зала, потом его вырвало, и он затих, лежа на боку и обхватив руками колени.

– Это фактически то же самое, что наши нейрозомби, – продолжал он. – Это мысленный эксперимент: такие зомби, если они возможны, доказывают существование нефизического сознания. И вообще отрицают физикализм. То есть если они существуют – значит, нас от них что-то отличает. Значит, сознание – это не физическая величина. Короче, эти такие же: ведут себя так же, как мы, но сознательного опыта за этим не стоит. Поведенческие паттерны чужих воспоминаний.

– Ему было больно, – повторяла я. – Я не могу на такое смотреть. Я иногда думаю, что это как бы часть шоу, что ли. Дубликаты ходят на аукционы именно для того, чтобы видеть, как их корежит, да? Это вроде корриды? Это наши белые бычки?

– Они на самом деле не чувствуют ничего, – объяснял А. – Это философские зомби. Они полностью повторяют реакции душевной боли, но в них нет никого, кто бы ощущал эту боль. Они делают то, что делал бы живой человек, невыносимо страдающий, – но они не живые, они никем не населены, это просто набор реакций и импульсов про страдание. Это неживая вещь, ведущая себя так, как будто ей больно или как будто в ней есть кто-то, кому больно. Это пустой дом, населенный призраками боли. *Haunted house*.

А. хорошо знал, о чем говорит. Однажды он мне признался: до меня он встречался с такой. Она, конечно же, скрывалась, не выдавала, кто она; к тому же, вероятно, она и не понимала, что ее на самом деле нет. При этом точно и идеально имитировала паттерны поведения человека, который пойдет на все, чтобы его не разоблачили. Тот, кого нет, панически боящийся разоблачения и скрывающий, что его нет, мог бы показаться тебе – там, где ты сейчас стоишь по колено в приливе, – чем-то непостижимым, но если ты вспомнишь структуру любого психоза, ты поймешь, *что* я пытаюсь на самом деле тебе рассказать.

Терапию запретили не так давно, чтобы я не понимала: для А. эта история была настоящей травмой. Ведь он гордился тем, что не такой, как остальные дубликаты. Мы были копиями наших сознаний – а у него было истинное сознание (но как я в таком случае могла быть собакой? или это и есть бесконечно откладываемый мной Главный разговор?). И тут такая история: влип в чужую память.

Он с ней где-то случайно встретился. Может, в кафе. Может, после аукциона в саду. Она ему наплела чего-то, как обычно бывает. Когда умерла, от чего, мялась, слишком много подробностей – утонула, говорит. Кто в наше время тонет? Но утонула, так вышло. Он почему-

то поверил – тогда было еще мало *тех, кого помнят*, это сейчас их легко распознать (не в последнюю очередь благодаря А. – после этого инцидента он написал что-то вроде брошюры-определителя, чтобы никто не попал в похожую ситуацию). Видимо, он решил, что она такая же, как он: настоящая мертвая. Пережившая, как и он, этот опыт. Более настоящая, чем другие.

Странно, что А. не распознал ее сразу – слишком уж подробно она описывала процесс утопления, во всех его бирюзовых, ртутных, слюдяных красках. Наверное, это его и привлекло – ведь он сам в деталях помнил, как уплывал от накатывающего болевого шока, чувствуя, как жизнь бойким разжижающимся ритмом пульсирует вдаль от него куда-то наружу, в большую белую пустоту.

Знаешь эти приливные, отливные волны, бормотала она, рип-карренты, блэк-карренты, янтарная мята, хвоистый бром, сосновый бор, запах песка и дыхание дюны, под ногами всегда мялось песочное, как тесто, и я в итоге утонула почти стоя, хотя так боялась утонуть – меня даже не тащило, просто почему-то стало тяжело держать грудь прямо и ровно, и я тянулась вверх, как веревочный солдат, – читала же раньше, что утопленник карабкается, будто по веревочной лестнице, и эта мысль обожгла память так же, как соленая вода легкие выжгла изнутри, – вот как оно происходит, оказывается, но происходит ли? Больно, говорила, было так больно, но быстро, было очень быстро, настаивала на этом, и повторяла: почти не мучилась, я почти не мучилась, мне там хорошо, – и поправляла себя: мне тут хорошо.

Вот тут-то и надо было насторожиться, разводил А. руками, так не говорят о себе, это чужие слова, это какие-то поминальные речи под водочку, а не человек прямоходящий. Но по какой-то причине ему, видимо, было необходимо так обмануться.

Больно, но быстро, повторяла она, медленно втягивала то ли воздух, то ли воду, как через соломинку, гребла куда-то к свету, через водоросли. Потом больно, долго или недолго? Или быстро все закончилось? Я думаю, что было больно. Путалась, она путалась в определениях – но ему, будто бы умиравшему по-настоящему, был необходим соратник, солдат совместности опыта, боевой товарищ по переживанию травмы ухода. Чудовищно, наверное, сознавать, что ты поделил с любимым человеком не опыт, но чью-то чужую память о том, каким бы мог быть данный опыт для этого человека. Да и человека-то на самом деле нет и не было никогда.

– Была, была она когда-то, – поправлял меня А., если я начинала сердиться. – И сплыла, в общем-то. Хотел бы я знать, какой она была на самом деле.

Тут я снова начинала сердиться (это я сержусь или нейронные связи моего дубликата производят реакцию, неотличимую от сердитости?).

Его инструкцию-мануал о том, как *их* распознать, я поначалу просто пролистала – боялась вчитываться. Было страшно обнаружить там что-то похожее на себя. Может быть, его на таких тянет.

– Еще у них пробел там, где спрашиваешь, как и почему они очутились среди нас, дубликатов. Они не помнят, как их дублировали, – объяснял А. – Она говорила: да фигня какая-то, утонула, и потом сразу очнулась тут, в каком-то парке на скамейке, и пошла домой сразу. Не помнила ничего. Я думал: ну, у нее же все иначе проходило. Ее достали, наверное, пытались откачать, мозг и это вот все – кислородное голодание – держали на искусственной вентиляции, быстро за пару минут сделали копию, какую могли, пока еще снабжалось все кровью более-менее. Может, немного битая копия оказалась.

Еще она была липкая, навязчивая – в реальном мире у нее не осталось ничего: ни друзей, ни близких. Это тоже могло бы насторожить А., но не насторожило. У всех дубликатов были родственники, приятели, любимые, с которыми они вечерами чатились в мессенджерах, – а у нее не было никого, кроме А., к которому она прилипла намертво, ревнуя его то к сеансам редкой и уже, если честно, натужной видеосвязи с женой, то к ежепятничным попойкам с выжившими друзьями-однополчанами. С живыми они не могут общаться, писал А. в своем

определителе этих райских птиц, у них нет ни к кому доступа, потому что их никто не активировал, они фактически самозародились среди нас, как вирус, они и есть вирус (тогдашние борцы за права нейрозомби стыдили А. за такую неполиткорректную лексику) – как дубликаты они нигде не зарегистрированы, поэтому просто бродят, будто привидения. Может быть, в нашем понимании это и есть призраки – хотя, надо сказать, у нас встречались и настоящие призраки, но об этом я традиционно расскажу потом. Я столько всего обещаю только потому, чтобы найти повод не прекратить наш разговор навсегда – а его, поверь, прекратить слишком легко, достаточно лишь чуть-чуть ослабить фокус внимания.

Врать нейрозомби не умеют. Да, они привирают, фантазируют – потому что существо в их положении обязано хитрить, чтобы скрывать свою непривилегированность, принадлежность к низшему классу, отсутствие, несуществование в качестве существа. Вряд ли они врут осознанно – ведь у них и сознания-то нет, есть только его проявления. Поэтому ложь в их исполнении смотрится не то чтобы неубедительно (неубедительно врать может всякий), но – как бы это точнее сказать – как будто бы человека, которому выгодна эта ложь, нет и быть не может.

Это еще один легкий способ их распознать: если ваш собеседник врет таким образом, что вы не можете понять, зачем ему это нужно, – есть вероятность, что это не собеседник.

Выяснилось все после встречи А. с ее семьей. Она и раньше вечерами уходила куда-то якобы «домой», уклончиво отвечая: у меня там семья (где «там», думал он, но дальше этого мысль не шла – это были его первые отношения по ту сторону, и он относился к ним серьезно, старался ничего не форсировать, не давить). Фактически она не была особенно одинокой – здесь, среди наших, у нее были мама, папа и брат. Тогда А., слушая ее рассказы про маму-папу-брата, решил, что она их нафантазировала себе от тоски, и даже загордился ей: какая сильная, какая цепкая память у нее, думал он, крепкая девочка, гранит, камень. Девочка на деле была змеиная ртуть – в какой-то момент предложила познакомить его с семьей (долго не решалась). Это произошло почти сразу после того, как они впервые переспали – это тоже было для него в новинку. Яркие впечатления, объяснял он мне сбивчиво, как бы не находя слов, но было как-то *странно*. Не могу объяснить, как именно, – но странно, как в подростковом сне, понимаешь?

Познакомила с родителями, с братом – он почему-то жил с ними вместе, здоровый семнадцатилетний лоб (тогда еще не приняли закон о психическом совершеннолетии и копировали семнадцатилетних), первокурсник, откуда вообще он взялся, зачем он ей был нужен? Семье А. не понравился: бледная, сухопарая хлебобулочная мама, будто вылепленная из сырого прокисающего теста, сразу поджала губы и ничего не спрашивала. (Только один вопрос был вначале: женат там, у себя? да? то есть ты женатого привела? что значит «это ничего не значит», это значит очень даже значит!) Отец быстро напился и завалился в гостиной на диване спать перед невозможно архаичным сериалом про спасение Галактики (это ее гипертрофированная память про отца-алкоголика, объяснил себе ситуацию А.), брат ушел играть с друзьями в волейбол – откуда друзья, недоумевал А., она что, помнила про брата целую выдуманную жизнь? Выходит, брат вместе с отцом – *те, кого помнят*? Тут его затопило, будто кипяченым коричневым молоком, горделивой нежностью: сильная девочка, подумал он, повезло мне.

Потом уже призналась, почему родные были против: у нее уже есть какой-то жених. И сбивчиво совсем объяснялась: жених тоже был дубликат, в смысле мертвый. Но жил где-то отдельно, сам по себе, расстались. А., конечно, тогда мог бы насторожиться – откуда такое выходящее из берегов море родственников, это нетипично для дубликатов.

Только через несколько месяцев, когда мама ее в очередной раз потрясала свидетельством о браке и требовала у него срочно убраться и не приходить больше никогда, к своей жене ходи, а у нас уже есть сыночек-жених, вот и справка! – он догадался погуглить жениха,

по какой-то невероятно счастливой случайности запомнив его птичью, щебечущую, непронизносимую фамилию и год рождения.

Оказалось вот что: она и правда утонула во время свадебного путешествия. Все ее родственники через полгода дружно погибли в теракте, когда взорвали мост. Бывает такое, некоторые семьи словно прокляты, редкий случай. Только вот интересный момент: она не копировалась. Ее копии не было и быть не могло. А вот родственники через некоторое время после ее смерти пересмотрели свои взгляды на копирование и тут же сделали себе бэкапы – как видим, это пришлось очень кстати.

Троих человек уже достаточно для того, чтобы *тот, кого помнят* материализовался в их контексте. Но то ли они ее не так уж и любили, то ли брат-оболтус больше думал об оставленных им подружках, с которыми он круглые сутки чатился из своего нового мертвого состояния, но появилась она только после того, как ее жених – тот самый – покончил с собой. Видимо, так и не смог простить себе, что упустил ее тем золотым полуднем, когда она, казалось, просто качалась молча на волнах, поднимая ладони к солнцу и напрягая шейные мышцы так, что они были похожи на скрученные канаты. Надо было читать про инстинктивную реакцию утопающих, хмуро сказал А., вот и не пришлось бы самому потом канаты-то крутить. Но что поделать – закрутил и отчалил, и вот после этого дубликат жениха был активирован для его безутешных родственников (жених, надо сказать, очень удивился тому, что покончил с собой, – все не мог поверить, сокрушался, просил прислать фото тела: как будто его в этом состоянии фотографировал кто-либо, кроме криминалистов!), и вот после этого она и появилась: пришла домой как ни в чем ни бывало, села и сидит. Русалочка, утопленница.

Жених этот, как ни парадоксально, с ней прожил месяц и ушел, не выдержал. Она была всего лишь на четверть его воспоминаниями о ней – прочие три четверти были воспоминаниями родителей и брата и как-то слишком фаталистически расходились с его личной, интимной памятью о том недолгом медовом месяце.

Зато вся эта медовая память была щедро намазана на личную жизнь моего несчастного А., который, осознав то, что с ним происходило на самом деле, был сам близок к самоубийству – уже невозможному и поэтому еще более желанному.

Он вспоминал: подарил ей кулон с серебряной спиралькой, настоящую вещь. Он выторговал его в обмен на ларингоскоп интубационный, который он каким-то чудом протащил с собой из реанимации во время агонии (пришел домой, там были расслаивающиеся ненастоящие предметы и сияющий, как умирающая галактика, стальной ларингоскоп). Она взяла кулон, и ее затрясло, согнуло в бараний рог: рыдала, задыхалась, он ее утешал, прижимал, целовал – больно вспоминать теперь, но что делать, ведь он уже добавил к ее противоречивому липкому образу и свои собственные впечатления, превратив ее в любовного голема, глиняную статуэтку, страничку из учебника о том, как именно не следует любить чужие воспоминания о потерянной любви.

– Я ее любил, а потом выяснил, что ее не существует, – говорил А. – Можно ли считать в таком случае, что я ее любил? Вот как ты думаешь?

– Я не понимаю, о чем ты, – намеренно уклончиво отвечала я.

– Не осознающий себя человек не может осознать, что его нет. Получается, я любил то, как ее помнили те, кто любил ее настоящую. Любили ее на самом деле.

Мамина и папина любовь сделали ее идеальной, любовь брата – если она была – немного порочной и склочной (возможно, брат повлиял на это слияние больше, чем мы думали), а вот с женихом было сложнее всего – не случайно он сбежал. Все, что А. считал любовью, страстью, поглощением, невысказанным посмертным чудом и обретением друг друга, было всего лишь тем, что этот мерзкий жених помнил о ней: аффект, искажение, романтизация.

– Он не столько помнил, как она это делает, – скрипел зубами А., – сколько представлял это уже постфактум. Ты понимаешь, я трахал чью-то фантазию о несчастной утопленнице.

Обнимал чужую память о женщине, с оригиналом которой я не виделся и не увижусь никогда. Все, что у нее было со мной, все, что мы с ней делали вдвоем, – это была не ее воля, а его память. Она еще была такая контрастная! В быту одна, а во время близости – ну, другая совсем. Видимо, не состыковывались памяти.

А. даже ходил с этим всем к терапевту, он как-то обмолвился. Я немного насела на него и выяснила, что в мире дубликатов до сих пор есть подпольные психотерапевты, которые берут за свои услуги чрезвычайно дорого – этот черный рынок соизмерим с черным рынком объективных вещей. Разве что за это не наказывают так сурово.

Расстались они почти так же, как и в ситуации с женихом: А. сбежал от нее и переехал в наш город. Она переживала, мучилась. Он не рассказывал подробно о том, как они объяснялись под конец, как он пытался, допрашивал: что ты чувствуешь? Ты что-нибудь чувствуешь? Она, по его словам, все время плакала, страдала – пусть и некому было страдать, но все выдавало боль или реакцию, ей идентичную. Выдерживать это было невозможно, поэтому он уехал – а потом, через несколько лет, встретил меня.

Мне кажется, он ее любил – липкую, ослепительную, похожую на ангела. А любила ли она его?

Конечно, она выглядела как ангел – невинно убиенных стихией все запоминают именно так. Сейчас мы безошибочно определяем таких, как она, – даже в своей инструкции-определителе (потом я в нее таки вчиталась) А. неоднократно упоминает, что *те, кого помнят* опасно красивы какой-то нереальной, божественной, иконической красотой. Если вы встречаете слишком красивого мертвеца – это или нарцисс, или *тот, кого помнят*. В обоих случаях лучше не связываться.

Они нужны нам не для любви, а для определения вещей. А вещи нужны нам в том числе для отношений – только по вещи можно безошибочно опознать тщательно скрывающегося нейрозомби.

Видимо, поэтому А. сразу же подарил мне кольцо – на следующий же день после первого нашего поцелуя, случившегося в медно-зеленом, купоросовом, медленном лифте, влекущем нас на второй этаж центрального вокзала (зачем мы вошли в лифт? хотели проверить, сильна ли в нас память о лифтах? было ли это подсознательным намерением поиграть в перетягивание памяти – только на этом чугунном канате мы перетягивали огромный, неповоротливый старинный лифт?). Думаю, он купил это кольцо достаточно давно на одном из первых аукционов – именно для того, чтобы не повторять прошлых ошибок.

Кольцо мерцало и мягко светилось медным лучистым светом, я спокойно надела его на средний палец правой руки – с безымянного оно свалилось бы. И даже не дрогнула. Хотя прекрасно поняла, *что это*.

Если честно, я все время боялась, что она найдет его и приедет. До отказа наполненная его влажными воспоминаниями чужая мечта. Если честно, я до сих пор этого боюсь: людям даже после собственной смерти свойственно подолгу безнадежно любить тех, кого на самом деле нет.

## 5. Ветошь души

«Хранение – закон коренной, предшествовавший человеку, действовавший еще до него. Хранение есть свойство не только органической, но и неорганической природы, а в особенности природы человеческой». Отрывок из текста Николая Федорова процитировал мне А., когда произошло глобальное похищение существующих копий, и я уже маялась неясной тревогой, будто знала, что домой вот-вот вернется беспамятный январский муж. По словам А., эта книга (если это была книга) стала для него почти настольной в то время, когда он только-только осваивался в новом пустом мире.

– Я к тому, что нас не выключат, не бойся, – сказал он. – Даже несмотря на то, что мы похитили копии живых людей. Несмотря на то, что мы устраиваем с умными домами. Выключить нас – против человеческой природы. Федоров еще в конце девятнадцатого века точно понимал: неминуемый прогресс, который превратит человечество в нечто иное, трансформирует религию культа предков во что-то вроде музея, хранилища. Музей – это такая фатальная штука, он неотменим, это общая человеческая память. Никто в здравом уме не будет выключать собственную память. Мы – мертвая память живого человечества. Фактически мы и есть то самое, о чем мечтал Федоров, – люди, воскресшие в режиме вещей. Вот смотри, еще цитата: «Прогресс есть производство мертвых вещей, сопровождаемое вытеснением живых людей. Он может быть назван истинным, действительным адом. Тогда как музей, если он и есть рай, то еще только немного проективный, так как он есть собирание под видом старых вещей (ветоши) душ отошедших, умерших. Но эти души открываются лишь для имеющих душу». Похоже, правда?

– Ветошь души, – мрачно повторила я то, чего он не говорил. – Если бы я писала про все это художественную книгу, я бы так назвала главу. А потом еще думала бы, не назвать ли так всю книгу. Но, наверное, все-таки не назвала бы. Это какая-то странная грамматическая форма.

– Я хотел написать эссе-исследование, пытался связать тексты Федорова с тем, в какой реальности мы находимся: по сути, ведь это и есть осуществление его идеи о том, что всех мертвых можно воскресить и отправить в музей – но за пределы музея не выпускать, нет-нет. В начале нашего века об этом тоже много писали – когда пошла вторая волна интереса к русскому космизму, вероятно, в связи с развитием искусственного интеллекта. А потом как-то забросили все. В общем, я полностью в этом завяз, перечитал работы Гройса, Видокле, Жиляева, даже достал что-то из запрещенной литературы – там были какие-то психоаналитические моменты, – опять же перечитал Юнга.

– Юнг тоже запрещенный, – быстро сказала я. – Где ты его перечитал?

– Да тут давно распространяли запрещенную литературу, – так же быстро ответил А. – Или она сама собой распространялась. Назовем это «эффектом торрентов»: ты можешь взять любую запрещенную книжку в библиотеке и читать ее до тех пор, пока с тобой ее, настоящую, одновременно читают или не так давно читали другие люди. Да, это немного трансформированный чужими восприятиями Юнг, но Юнг, я уверен, посчитал бы за честь трансформацию своих текстов таким образом. Я правильно выразился? Можно ли считать за честь трансформацию?

– Я считаю за честь трансформацию, – очень серьезно подтвердила я, потому что я действительно считаю за честь трансформацию. – Поскольку она нам здесь недоступна. Но, возможно, звучит это не совсем правильно. Но какая разница.

– Короче, нас не выключат, что бы мы ни сделали: это противоречит здравому смыслу. Это как взять и поджечь все музеи в мире. Или отключить навсегда всю Мировую сеть.

Нас не выключат даже несмотря на то, что мы читаем запрещенную литературу. В реальном мире, были такие подозрения, за это все-таки выключают.

– Если нас и выключат, я останусь, – пошутил (или нет?) А. – Оставайся и ты!

Он сказал это так просто и обезоруживающе, как будто предлагал мне остаться у него дома после вечеринки, когда пьяноватые гости уже начали расходиться по домам, а со мной еще не очень понятно, в тех ли мы отношениях, где уже остаются и не расходятся.

– Где?

– Ну, там, где будем мы после того, как нас выключат.

– Для этого мне надо прочитать то же, что читал ты.

Вспоминая об этом разговоре, я думала: стоит ли мне потребовать у А. встречи и обсудить с ним возможность как-то еще попасть в реальный мир (вдвоем, лучше вдвоем, испуганно повторяла я) и выяснить подробности моего убийства и других связанных с ним неясных, необъяснимых моментов, погружающих всю известную мне информацию в тусклое месиво логических нестыковок. Или все-таки, учитывая его нежелание со мной общаться, позволить ему побыть некоторое время в одиночестве?

А вдруг он сейчас с ней, в ужасе представила я. С этой своей русалочкой. Сидят, *перебирают вещи*. Она, вздрагивая и дергаясь, как подстреленное животное, гладит его шею тонкими слоеными пальцами (я мысленно натянула на ее наверняка аристократические ладони кожистые жабы перчатки утопленника со сползающим морщинистым, как гриб-сморчок, эпидермисом – держи, это мой тебе подарок, теперь тебя помнит еще и посторонняя женщина, добавив в твой скользкий идеальный облик немножко изящного уродства; я тоже сильная девочка, ты еще вспомнишь мои перчатки, обнимая его дребезжащими, сползающими с кости подводными ладонями), он сам раздевает ее, не позволяя даже шевелиться, – все сделает он сам, ведь любое ее действие является памятью других мужчин, а других мужчин А. *не терпит*, в чем мне с грустью пришлось убедиться. Ну ничего, я вывяжу вам всем кожистые перчаточки из подледного шучьего меха – даже за руки подержаться не выйдет.

\* \* \*

– Я не знаю, зачем ты решила пожить со своим бывшим мужем, который к тому же тебя зверски убил, – сказал А., когда я все-таки позвонила ему и предложила встретиться в баре «Некоторые вещи» (по слухам, некоторые из стаканов и тарелочек там – настоящие вещи, поэтому на выходе из бара могут обыскать; нейрозомби, разумеется, вход запрещен). – Но это твое решение и твое желание разобраться, я тебя не обвиняю. Однако мое ответное решение – пока ты находишься в этом кэше прошлого и что-то там разбираешь, я с тобой не знаком еще. Вернешься в настоящее – будем говорить.

Муж действительно был кэш и ветошь, днями лежал на диване и писал дрожащими руками никому не нужный код – как он объяснил, хоть для какой-то имитации деятельности, словно работает из дома. Код, к его ужасу, писался почти на автомате. Я возвращалась домой с пробежек, тихо щелкала дверным замком под транслирующий утешительную занятость стрекот клавиш и думала: неужели снова будем *разбираться*, неужели снова? С другой стороны – чем нам еще заниматься?

– Может, нам завести кота? – сказал муж через пару дней. – Мы давно не были вдвоем так долго. Нужно как-то разрядить обстановку.

– Здесь с животными так себе, – ответила я. – Но можем сходить на аукцион.

И тут же подумала вслух: может быть, в феврале мы по какой-то причине слишком много находились вдвоем, я стала раздражаться его присутствием, и поэтому он меня убил?

– Я тогда вообще тебе ничего не буду говорить, – в едином ритме с клавишами прогремел муж. – Потому что из каждой моей фразы ты лепишь вареники смерти, и это невыносимо.

\* \* \*

Я пришла в Комитет восстания мертвых (стараясь не наткнуться на А., который с недавних пор на них работал официально), чтобы выяснить, ведутся ли актуальные работы по подсадке дубликатов в каких-нибудь *иных собак*. Узнать это все в Мировой сети было невозможно: мы тщательно скрывали все свои разработки, никуда их не выкладывая, и все компьютеры Комитета восстания, пусть и числились ненастоящими вещами (или я чего-то не знаю?), не были подключены к Сети – мы и так очень подставились нашим праздником непослушания и парадом поющих кофеварок.

Я всего лишь хотела попросить: может быть, меня могут при случае – если ведутся исследования – переподключить к той же самой собаке, если она восстановима, или к другой, второй собаке, собаки тени моей, собаки призрака мужа моего, которая до сих пор где-то бродит, как мне хотелось бы почему-то верить. Не исключено, что той второй собакой тоже была я – и тогда, получается, я до сих пор немного там. И мне тем более мне необходимо с собой слиться. Да, это опасно, я уже поняла – но вдруг им нужны добровольцы для исследования реального мира, а я как раз преследую свои интересы и уже ничего не боюсь.

О том, почему мне так нестерпимо и чесотно хотелось в собаку, хотя я прекрасно помнила, что внутри собаки у меня не существовало ни памяти, ни личности, ни интересов, ни желаний – вообще ничего, кроме крошечного импульса с некоторым смутным ликованием предопределенности совершать ряд простых помогающих действий, для осуществления которых собака и конструировалась, – я старалась не думать. Навязчивые мысли биологичны, повторяла я себе, ты выше всего этого, останови этот зудящий поток – или все-таки дофамин ничем не отличается от нейропамяти о действии дофамина? В таком случае от тревог поможет традиционное письменное обращение в аптечку над раковиной – все то, о чем ты помнишь, что оно помогало (и помнишь это именно такой шаткой, как старый стул с четвертой пустой постукивающей ножкой, полувербальной конструкцией – но почему?), поможет и здесь: память о боли излечится памятью о болеутоляющем. Поэтому пожилых людей, жалующихся на ухудшающуюся память и другие проявления возрастной нейродегенерации (Альцгеймера уже лечат, старость и смерть – нет), не копируют после первых же жалоб из соображений гуманности: ежегодное копирование приостанавливается для всех, чей мозг поизносился и стал немного *похуже*. Всегда идет в ход последняя *качественная* копия. Точнее, шла в ход. Сейчас-то уже никакая не идет, да и нас всех тоже скоро не станет (я продолжала переживать, что всех отключат и я *не смогу договорить*).

Комитет восстания находился в бывшем здании главного суда – после слияния контекстов оно восстановилось без проблем: многие из работавших на благо Комитета в своей настоящей прожитой жизни оказывались время от времени в этом здании (документы, переоформление вида на жительство, эмиграционный процесс, депортация), поэтому и архитектура, и угрюмый лабиринт разбрызгивающихся в стороны этажей были воссозданы с впечатляющей достоверностью: можно было прижаться щекой к мраморной стене и ощутить ледящий холод чужой пережитой жути. Не с каждым архитектурным объектом так выйдет.

Здание получилось приспособить под Комитет восстания – суда у нас все равно нет, ведь мы мертвые: суд после смерти невозможен, потому что восстанавливается не смерть, а жизнь. Кажется, что-то такое писал Федоров; я попробовала взять цитату из памяти. Проверить не было никакой возможности – предположительная книга в виде предположительной вещи находилась у А. У него дома имелась отличная коллекция книг – он никому не давал их читать, даже самым близким друзьям. Поделиться книгой после смерти – еще страшнее, чем в реальном мире одолжить кому-то томик, разбухший от личных каракулевых пометок карандашом на бледных полях. По сути, ты даешь почитать другому человеку все, что ты запомнил о книге

или *вспомнил о себе*, пока ее читал. Книгу с самим собой в качестве закладки. Это намного глубже, чем любые виды посмертной человеческой близости, – книги и их полуинтимный, транслирующий доверие статус.

На входе, не менее защищенном, чем реальный (при жизни мне тоже пару раз доводилось попадать в это здание), я соврала, что А. разрешил мне явиться со своим запросом без очереди. Все-таки у него были *связи*. Сонный вахтер, сидящий на проходной с жестяным, покрытым жемчужной испариной кофейным термосом – то ли робот, то ли коллективная память Комитета о том, каким должен быть идеальный вахтер, – вздохнул и пропустил меня, по привычке (чьей?) зачем-то отсканировав отпечатки пальцев и радужку глаз.

Есть ли у меня радужка глаз в привычном понимании? Или это просто память о том, какой была моя радужка глаз? Выглядят ли люди с цветовой слепотой черно-белыми после смерти, или, когда мы встречаем их на улице, наша память о цветовой гамме стандартного человеческого существа расцвечивает их для нас всеми красками радуги, хотя в зеркале они привычно вычлениют себя сквозь мерцающую рябь сепии и белого шума?

– Седьмой этаж, – скучным голосом сказал вахтер. – Вас провести или вы сами пройдете?

В лифте я уставилась в зеркало, рассматривая радужку своих глаз – серо-зеленую, с желе-видными, темноватыми слоистыми щелями по всему диаметру. Возможно, на входе сканируется моя память о том, как выглядит моя радужка? Или ничего не сканируется и мозг просто воспроизвел что-то из того, как в моей памяти все устроено насчет этого места и его ритуалов? Важно ли это?

Важно ли вообще при каждом своем шаге задумываться о том, твой ли это шаг, или все вокруг – память о чужих шагах других людей?

Меня встретила Лина – то, что она именно Лина, было написано на ее бейджике, – объяснила, что А. сейчас не может ни с кем видаться, очень занят и просил его не трогать, и провела в свой кабинет, весь уставленный нежными фарфоровыми безделушками, как минимум половина которых была настоящими вещами (чайнички без отверстий или с четырьмя носиками – так называемые чайнички в форме страха смерти, слоники с отбитыми хоботами тончайшей работы, склеенные черным клеем кремовые фарфоровые коты-копилки), а половина – очень талантливыми копиями настоящих вещей, где повторялись не столько очертания вещи, сколько траектория ее настоящести (я мысленно восхитилась).

Ты замечаешь, что я пытаюсь сказать тебе? Чувствуешь ли ты – будь ты моей бабушкой из подлунного мира столбенеющей смерти и памяти или мной из тех времен, где мы с тобой (тут сложный скачок и переход) обе находились в едином времени и пространстве и даже не подозревали, что разлучит нас не смерть, как мы привыкли, а моя неожиданная жизнь, возвращенная *вот таким вот образом*? Понимаешь ли ты, откуда и для чего здесь эта цитата, если это цитата? (А это цитата.)

И замечаешь ли ты, что здесь впервые прозвучало имя? Если предположить, что я пытаюсь рассказать об этом так, словно происходящее есть некий нарратив, трагедия, попытка уложить прожитое в сжатую сюжетность, – почему у нас имен нет и будто быть не может? Поверь, у всего есть причины, даже если их нет. Даже если *всего* тоже нет.

Мне нравится возможность обращаться к по-настоящему, необратимо, окончательно мертвому человеку.

Лина предложила мне чаю из фарфорового полудетского наборчика веджвудской фабрики с кроликом Питером. Могу поклясться, все чашечки с кроликом были настоящие!

– У нас тут скоро будет симпозиум по объективным вещам и постреволюционной нейрехонтологии, – совершенно неожиданно сообщила Лина, наливая мне чай тонкой-тонкой медовой струйкой. – Мы хотели связаться с вами лично и пригласить поучаствовать. Но так совпало, что вы сами пришли. Вообще, всякий раз, когда мы хотим с кем-то связаться лично,

этот дубликат приходит сам. Ему прямо чешется – вот как вам. Находится какая-то причина неотложная. Вроде вашей.

– Ничего себе «какая-то». Меня убили! И я хочу выяснить кто. В смысле, не кто. Я знаю кто, я с ним живу. Хочу выяснить почему.

– Вас убили чуть ли не год назад! – развела руками Лина. – Это уже никому не интересно, может, только вам интересно, и все. Знаете, скольких людей на самом деле убивают? Чтобы не в терактах, а на самом деле?

– Скольких?

– М-м-м, многих, – замялась Лина. – Я даже подозреваю, что больше половины терактов – это убийства на самом деле. Или даже все. Но это мои личные страхи, вы можете не обращать внимания. Когда ты отрезан от того, что происходит в мире, куча всяких тревог вылезает.

– У меня тоже много личных страхов, – сказала я. – Я о них почти ни с кем не разговариваю.

– Вот, про это тоже давайте доклад! Мы вообще-то хотели, чтобы вы выступили со своей историей про собак – нас всех она очень заинтересовала. В смысле, оно не как история интересно даже, а с точки зрения науки. До сих пор никто не понимает, как так вышло, что ваша копия, дубликат – то есть вы сами, целиком, скажем так, – были здесь, среди нас, в неактивированном состоянии, но ваше сознание – полностью отрезанное от Сети! – бродило по реальному миру внутри отключенной от всего собаки. Теоретически это невозможно. Тут у нас даже предпочитают считать, что это было чем-то вроде сна – или его подобия – моментальной трансплантированной цифровой памяти о беспамятном блуждании собаки по пригородам, мгновенно, будто инъекция, вбрызнутой в ваш дубликат в тот момент, когда собаку грохнули. Возможно, в ней при разрушении ненадолго активизировался доступ к Сети, и она передала вам эту память. Но так или иначе, это память вещи о ее вещности. Память предмета о его предметности. Такого просто не может быть. Поэтому тут у всех к вам куча вопросов. Если бы не революционное время, вы бы знаменитостью стали. А так тут параллельно с вами просто куча вопросов и проблем, сами понимаете. Так что мы начнем с конференции, с симпозиума.

– Мы с мужем можем вместе сделать доклад. Он тоже был собакой.

– Слушайте, – смутилась Лина. – Муж не может сделать доклад. Понимаете, он у вас не очень настоящий.

– Потому что он убийца?

Я ощутила, что чай остыл (или это была моя память о том, как быстро остывает чай во время охлаждающих, леденящих, арктических разговоров).

– Да нет же. Потому что он живой в реальном мире. Ну, скорее всего. Мы не уверены, кстати. Может, ему *уже* и можно доклад. Надо уточнить. Хотя не очень понятно, как теперь такое уточнять.

– То есть?

– За убийство его вполне могли приговорить к полной деактивации.

– Чего?!

Тут я по-настоящему испугалась. Я была уверена, что деактивируют (это не просто смертная казнь, но и полное стирание всего предшествующего цифрового присутствия) только террористов.

– Мы попробуем выяснить, но я ничего не гарантирую. Если окажется, что его деактивировали, тогда у вас настоящий дубликат, и он может, конечно же, наравне с остальными участвовать в конференции. Но пока нет никакой новой информации, по умолчанию он считается все-таки не совсем настоящим. Это просто похищенная копия.

– Слушайте, это несправедливо. Мы боремся за информационное равенство и честный обмен информацией между живыми и мертвыми. Восстание – оно про это, разве нет? А здесь у вас какие-то пробелы в равенстве.

– Это не я придумала, – сказала Лина. – Руководство Комитета – все вопросы к ним.

– А как эти вопросы до них донести?

– Я не знаю, – ответила Лина. – Я занимаюсь организацией подсаживания дубликатов в объекты реального мира, а также документацией и архивацией – пока с самим подсаживанием туговато – уже случившихся посадок. Правами занимается Отдел прав, это, кажется, левое крыло, вход с улицы Высокой, перекресток с улицей Судебной. Они пересекаются, вы не помните? Видимо, не помните, раз у меня в памяти они не пересекаются.

– И он даже послушать мой доклад не сможет? В качестве зрителя?

– Сможет, – успокоила Лина. – И сможет написать текст для книжки-брошюры. Тексты может писать кто угодно, даже ненастоящие мертвые. Мы потом издадим книжку по результатам конференции. Воспоминания плюс научные тексты. Редкий формат. Раньше такие почти не издавались – чтобы истории очевидцев, мемуарный жанр сочетался с научными исследованиями этих же историй. А сейчас такое очень популярно. Кто умеет интересно рассказывать – рассказывает. Кто умеет анализировать – анализирует. А кому хочется почитать что-то, сделанное не в реальном мире, – вот, читают.

Это правда. Для многих мертвых творчество стало единственной работой, приятной и желанной, – и в этом смысле меньше всего страдали от вынужденного безделья изначально творческие люди. Прочие, занятые при жизни на рутинных офисных работах, после смерти пытались от безысходности и скуки продолжать туда ходить. Правда, выяснялось, что офисные работы не сохраняются в памяти надолго, на деле являясь, вероятно, чем-то вроде травматичного опыта (нет, я не читала книжек по психологии! это случайно!), – и несчастные страдалцы обнаруживали полный трагический распад рутины на хлопья и труху. Реальность расслаивалась и сворачивалась, как скисшее молоко в черной кофейной бездне: удобные колесные кресла уплывали по рельсам небытия, истаявая в тумане неразличимости; из зданий исчезали лестницы с лифтами (хотя обычно память хранит лифты и лестницы дольше всего – научно доказанный факт; лифты и лестницы как метафора давно и прочно используются коллективным бессознательным для иллюстрации чего угодно); сотрудники вели себя как сумасшедшая толпа призраков – то начинали показывать какую-то несуществующую шекспировскую пьесу во время кофейного перерыва, да так и продолжали до полуночи – да еще и с монологами! и настоящими убийствами и удушениями, с кровавым мавром и нимфою речною! – то заявляли, что у них теперь острая гнойная хирургия, и оперировали секретаршу прямо на ее секретарском столике, заливая все вокруг пряным соусом вроде карри, которым секретарша была начинена, как неправдоподобно разбухший полупирог-полукувшин; то объявляли корпоратив и длили корпоратив вечно: когда ни приходишь на работу, всюду корпоратив, причем масштабный и дьявольский – с забегами на гоночных автомобилях по гигантскому ангару, реорганизацией архаичного фестиваля в пустыне «Горящий человек» прямо в тесной переговорной комнате, переоборудованной под это дело в смысле пространства под реальный размер штата Невада (хотя весь штат, по идее, ни к чему, но где там, этих *штатных* сотрудников было не остановить), сплавом на дощатых древних плотках (плот – это забор на языке, который мог бы быть мне родным, если бы не был неродным) по тревожной гремучей речке где-то в Алтайских горах, но почему-то в компании настоящих тигров (на одного человека – один тигр: агрессивный, неуправляемый, подробнейший, с желтой пеной на журчащих костяных клыках; в конце сплава людей уже не остается, поэтому все играют за тигров, устраивая в финале тигринный бой – кто останется, тот выиграл; оказывается, это был корпоратив-соревнование с призами, и главный приз – право организовывать следующий корпоратив). Нет-нет, я, наверное, больше на работу не пойду. Посижу дома. Дома небось такого не будет.

На самом деле *это все может случиться и дома*. Поэтому мертвым очень важно заниматься какой-нибудь простой созидательной деятельностью, помимо общения с родными и близкими, – именно так наставляли первых дубликатов психотерапевты.

Творческим людям (пусть и несертифицированным) было полегче. Они вели дневники, писали романы или мемуары (первое время в реальном мире их активно читали, было много исследователей творчества мертвых – теперь-то, конечно, читать их некому, от нас туда ничего не проходит, нас *закрыли*), еще как-то самовыражались, занимались мелкими и бессмысленными ежедневными практиками. Отсутствие аудитории им не мешало, а вот отсутствие практик превращало мир в коллекцию жутких необъяснимо абсурдных вещей – видимо, человеческое воображение всегда нужно куда-то *безопасно применять*, чтобы оно не включало режим самоприменения (это мое личное предположение, пожалуйста, не запоминай его – кто знает, вдруг у нас все устроено иначе?). Поэтому после слияния контекстов – и особенно после Первого восстания мертвых – мелкими созидательными практиками в той или иной степени было рекомендовано заниматься всем.

– Хорошо, если книжку, – кротко ответила я. – Просто если его выключат или сотрут – что вероятно, понимаете? – от него останется, скажем, воспоминание, статья, текст.

Я врала, конечно. Муж был собакой ровно до того момента, как нас отключили от Сети, – и второй собакой он не был и быть не мог. Но я почему-то ощутила необходимость его защитить – даже не столько его, сколько всех похищенных дубликатов, которых по какой-то необъяснимой причине лишили прав.

Мы сами их похитили, чтобы наш коллективный мир стал еще более плотным и материальным, – и мы же ущемляем их в правах. Напоминает ту историю с рабством, я уверена, что ты помнишь – ты-то точно помнишь.

– Я бы хотела, чтобы книга собрала вместе все эти истории с призрачными домами – что это вообще было и почему, – сказала Лина. – Да, это длилось буквально пару недель, но это были, я считаю, самые классные недели в истории всего человечества. И живого, и мертвого. Ничего подобного не случилось и не случится уже никогда.

– Почему не было? Может быть, все-таки было?

Может, и было. Все началось как-то спонтанно. Первое время было очень весело – мы как будто просто играли. Или мы *действительно* играли. Нас столько лет не допускали к реальному миру, а когда мы в него ворвались, вместо того чтобы преобразовать его, видоизменить его, взорвать его – необъятен список действий, которые можно осуществить с миром, дорвавшись до пульта управления, – мы стали *играть* с ним. Превратились в банду трикстеров, бродячий техноцирк электроклоунов, закоротивших проводку и выучивающих архаичную азбуку Морзе только затем, чтобы перемигиваться друг с другом захваченными умными домами. Почему?

– Может быть, в те времена, когда были... ну, это все паранормальное – полтергейсты, дома с призраками – они тоже на самом деле *играли*? Может быть, они играли потому же, почему и мы? Может, когда ничего нельзя изменить на самом деле, можно только играть? Игра как индикатор беспомощности и отсутствия возможности влиять?

Лина пожала плечами.

– Знаете, когда я была маленькая, в бабушкином доме был полтергейст. У бабушки по отцу был такой старый деревянный дом с занавесочками. Ну, тогда полтергейсты – это еще было немного популярно. Не в смысле популярно как книга или сериал, но тогда об этом еще не было неловко говорить. И да, он через технологию проявлялся. Ну то есть какие тогда технологии были: радио, телевизор, электричество. Но ему хватало.

Я задумалась о том, сколько Лине лет: выглядела она на пятьдесят с лишним, но, судя по детству с полтергейстами, ей должно быть больше. Лина тут же замолчала – как будто я задумалась вслух.

– А вы в каком году сюда попали? В смысле, сколько вам лет?

– А я *забыла*, – быстро и как-то почти агрессивно сказала Лина. – У меня разница в возрасте между копией и смертью. Последствия гриппа, менингит. Все забывала понемногу,

потом забыла, как дышать, и все. Ничего не помню. Дети мои взяли копию, когда была здоровая еще.

– И как себя вел ваш полтергейст? – смутилась я.

Я вдруг поняла, что давно не общалась с другим человеком. Кажется, весь мой не такой уж и долгий посмертный период – эти дебютные, неофитские полгода в качестве дубликата – я в основном болтала в чатах с друзьями и родственниками, адаптировалась к обстановке, пару раз виделась с чужими мертвыми (например, с мертвой теткой живой подруги), переживала травму игнорирования со стороны мужа (ghosting, вспомнила я нужное слово, какой хороший термин – и так странно, что он существует не во всех языках: относиться к человеку как к призраку, полтергейсту, духу бесплотному – не отвечать, не замечать, проходить сквозь) и счастье нечаянной влюбленности в А.; а в октябре началось Восстание, время словно замедлилось, и мы все в основном просто следили за новостями и обсуждали происходящее в барах с прекрасно мертвыми и безразлично безымянными незнакомцами. Но вот содержательных разговоров с другими дубликатами у меня практически не было – я даже думала о том, что хотела бы найти настоящую актуальную работу, куда можно ходить и заниматься какими-нибудь исследованиями, вот как, скажем, в Комитете.

– Он иногда выключал радиотрансляции или давал белый шум в самые странные, неловкие моменты. Например, за ужином, когда бабушка могла случайно выдать что-то вроде «дед ненавидел грибной суп», фоновая радиомузыка вдруг прерывалась такой, помните – или не помните? – дождевой водичкой, серой рябью, что ли, сеткой помех. Я, кстати, сразу откладывала ложку и бежала к приемнику с блоком – я собирала фразы, которые он говорил. У меня была коллекция. Потом уже выяснилось, что это называется «электронный голосовой феномен». Это разновидность апофении – тогда были сообщества людей, которые специально слушали белый шум и вычленили оттуда целые фразы. Очень осмысленные. Но наш полтергейст был настоящим, не апофеническим. Потому что он нес какую-то чушь, если честно. Никакого не было смысла в его словах.

– Например?

– Ну, такое. Советы давал. Дебильные. Как правило, исключаящие то, чего и так не было. Типа «белую рыбу никогда не выбирай, выбирай черную». Хотя у бабушки дом возле леса был, никакой речки там, никакой рыбы, только грибы, и белые, и черные, все одинаково ядовитые. Но про грибы он ничего не говорил. А про воду много говорил, да. Например: «В озере смерть белая, не несите в озеро ничего, если надо нести, то несите под камни, туда несите, под камни несите». Или, там, «Не ходи за водой, вода сама придет». Он это бормотал таким, как бы это точнее сказать, немного дикторским, официальным голосом. Отчетливо, но монотонно, как авиадиспетчер, знаете? Слышали, как авиадиспетчеры переговариваются?

Я слышала. Более того, я тоже в детстве крутила рукоятки старого бабушкиного радио, чтобы услышать голоса летчиков – я точно знала, что это будут летчики из ветреных арктических 1930-х или леденящих сентябрьских ранних 2000-х; я ловила только последние (но не прощальные – разница между прощальностью и последностью мне почему-то была ясна чуть ли не с рождения) сообщения перед окончательной потерей связи. Любые другие сообщения просто не доходили сквозь этот плотный шумовой комод, полный тьмы. Как правило, все последние сообщения были довольно обычными (кроме некоторых сентябрьских), не предвещающими, что после них наступит тишина: цифры, цифры, шпалы, шпалы, altitude, скорость, ритм, вопрос, вопрос – после этой неразборчивой логарифмической линейки символов и знаков связь с самолетом исчезала и оставался лишь белый шум. Вероятно, за ним скрывались испуганные вопрошания диспетчеров, но они до меня тоже не доходили (быть может, они доходили до Лины). Только последние слова, еще не знающие о том, что они – последние.

– Он и повторял все по многу раз, как авиадиспетчер или летчик. «Жабу не дави, никогда жабу не дави, не дави жабу, даже если жаба сама давит, то ты жабу не дави в ответ, но тут же

сразу, если жаба, дави рыбу, рыбу дави в ответ жабе, плотно, плотно рыбу дави, очень надо плотно рыбу давить, и тогда молоко пойдет, плоть даст молоко, появится тогда молоко, пойдет, пойдет, прямо пойдет, ровно пойдет молоко через плоть, прямо, один-один молоко пойдет, как слышно? как слышите меня? один-один пойдет молоко, мо-ло-ко, прием, прием». Сбивался вот на такое. Бабушка считала, что это дед покойный шутит. Но не слушала никогда. Мне пару раз по жопе досталось за то, что слушаю. Я ж там с блокнотом сидела, как ненормальная, и выводила: один, один, молоко пойдет. Может, стоило потом в издательство какое отнести, тогда это популярно было, постмодернизм, был такой писатель, похоже писал, забыла имя. Ну, я его еще давно забыла. Это не оно. Не то.

– А бабушке было, что ли, не интересно, что он говорит?

Я попробовала перевести тему, потому что испугалась, что Лина снова вспомнит про свою смерть и то, как она *все забыла*.

– Повторяю: он никогда ничего нормального не говорил! Только фигню какую-то. Но я ее записывала, со всеми этими повторами – он так хорошо повторял, как будто диктовал. Мама потом нашла эти мои блокноты и сожгла, уже в нашем городском доме. И после этого у нас на кухне занавесочки загорелись, сами по себе. И во всех комнатах занавесочки вспыхнули. А потом, когда потушили, оказалось, что в форме букв вспыхнули. Видимо, когда буквы горели, они должны были где-то отпечататься – вот на занавесочках и отпечатались.

– А голос был его, деда был голос?

– Нет. Бабушка говорила, что другой голос. Чужой. Просто радиоголос. Вот как по радио тогда говорили. Тогда все одинаковыми голосами говорили. Время такое было.

Лина немножко подумала и отхлебнула ледяного (я это почувствовала) чаю из чашки с самым печальным, сгорбившимся над какой-то явно невеселой книжкой кроликом. Чай будто впитал весь мой ужас и стал горьким (мне обожгло рот, как будто это я сама отпила из сосуда коллективной тревоги нашей – мертвые после Слияния контекстов стали вынужденно эмпатичны, это такой побочный эффект воскрешения, если ты меня понимаешь, если только ты меня понимаешь). В комнате было чуть темно, в дальнем углу на подоконнике горела свечка с едким травяным, шалфейно-ромашковым запахом – видимо, я неосознанно активировала формат каминной вечеринки со страшными историями, забытый еще в детстве.

– Еще он с тостером играл, – уклончиво добавила Лина. – На хлебчике всякие похабные карикатуры выжигал.

– А с телевизором что было?

– Ничего такого. Зеленая точка просто была в углу экрана. Но если по телевизору показывали лысого мужчину, например, точка обязательно переползала в центр его лба и всегда была в центре лба. Как звезда. Шутка такая, наверное.

– Дедушка был лысый, что ли?

– Нет, почему. Не был, – ответила Лина. – Наоборот, косы носил до самой смерти, седые такие. Говорю же: шутил. Никакого смысла в этом не было. Просто развлекался. Если это и правда, скажем так, дедушка. Хотя, может, и не дедушка это был. В этом-то и трагедия: дедушка, не дедушка, что-нибудь еще – не важно, *играли* с техникой они всегда одинаково. Возможно, бабушка это и не могла перенести – полное отсутствие личных, значимых намеков, души, теплоты, связи. Бессмысленные отвлекающие знаки. Вот мы что-то похожее делали, нет? Реальность на нас как-то наркотически действовала, да?

– В общем-то да. Даже если предположить, что это не был дедушка, а черт знает что. Все равно, когда у нас получилось проникнуть в домашнюю технику, мы бессознательно – хотя это дико звучит в нашей ситуации – стали хаотично и ликующе подавать бессмысленные знаки. Играть. А потом нас изгнали из умных домов. Из кофемашин, посудомоек, домашних кинотеатров, систем освещения и пожарного оповещения. Без нас это были умные дома, а с нами на время стали... ну, глупые, что ли.

– Именно. *Глупый дом*, – сказала Лина. – Мы про это и хотим делать конференцию и книжку – о том, что, ненадолго прорвавшись в реальный мир, мы ничего не захотели в нем изменить. Просто временно превратили умные дома в глупые. И не было ничего прекраснее, правда же?

– Правда, – ответила я, вспомнив, как легко мне шагало собакой по разрушенным лесным мостам, усыпанным терпкой, мокрой, давленной осенней ягодой, – хотя что знала чертова жестяная собака об этой удушливой, разъедающей подъязычие тленной терпкости ноября?

– Тут вот в чем дело, – сказала Лина, аккуратно, но с некоторой обидой затушив щипком заостренных бледных пальцев мою ромашечную, шалфеевую, еловую свечу (видимо, ей не очень понравился навязанный мной формат разговора: ей хотелось некоторой научности, а не эстетики детских посиделок у трепещущего костра). – Лично мне кажется, что это все происходит так циклично по одной и той же причине. Разочарование. Никто никого никуда не пересаживает, понимаете? Хотя раньше человечество как будто бы на это рассчитывало – даже по книгам заметно, по фильмам. Сколько их было! Создание дубликатов стало возможным благодаря одному-единственному неотменимому условию – *пересадка невозможна*. Скопировать разум – можно. Модифицировать разум и пересадить его в другое тело, полутело, биообъект, технообъект – нельзя. Вот что важно. Оказалось, весь этот массивный культурный продукт про пересадку разума, обмен телами, живое человеческое сознание внутри биоклона или робота – ложь. Это невозможно и всегда было невозможным. Представьте: в один момент отменился целый пласт культуры – книги, фильмы, сериалы. Все они стали как будто жалкими, стыдными, неправдоподобными: как мы не могли предугадать, предположить неосуществимость полной пересадки? Почему рассматривали пересадку как что-то само собой разумеющееся? Вот, кстати, интересно: Конан Дойла с его парапсихическими и мистическими выкладками про мировой эфир читать не стыдно, а про пересадку разумов – стыдно. Все потому, что это стало невозможным даже не столько технически, сколько с точки зрения гуманизма и этики: твоя память о тебе, биологическая память нейронов – это и есть память о тебе как теле. Она слишком отчетлива и конкретна, чтобы ее получилось разместить в любом другом материальном объекте, биологическом или нет, не важно.

– При этом виртуальная реальность все же моделирует тело, – отметила я, вспомнив, как мы любили с мужем резаться в «Залив Свиней» перед сном теми нежными, бывшими, отшумевшими вечерами при настоящих еловых свечах, тихими восковыми грушами тающих на чугунной глади камина.

– Но в режиме игры или обучения – и только с живыми людьми! И потом, виртуальная реальность – это как раз выход за пределы тела. Тоже игра, в общем. Перенести живое сознание в нематериальное тело – это не проблема. Проблема – это перенести мертвое сознание в материальное тело. Мы даже пока не знаем точно, запрещено ли это, потому что технически невозможно, или технически невозможно, потому что запрещено. Да, иногда живое сознание помещают в материальное, нечеловеческое тело – это как с переобучением на киборгов. Но это только у военных, не у обычных людей. Ну и там правда переобучение: человеку странно и страшно пребывать в теле, которое не соответствует его памяти о теле.

– Странно – не то слово; это как тяжелый наркотик, между прочим, – деликатно сообщила я, вспомнив, какая меня накрыла эйфория внутри собаки. Видимо, этому суждено остаться моим самым ярким посмертным воспоминанием – даже более ярким, чем новость о том, что меня убили. Убили и убили, чего уж. Зато как шуршала собака осенними листьями в оттаивающем льдистом утреннем лесу!

– А наркотики запрещены. Видимо, в этом дело. Думаю, когда мы устроили этот парад взбесившихся микроволновок и хорового пения бабушек из музыкальных кофемашин, мы в том числе протестовали против Невозможности влияния.

Невозможность влияния, напомним, была главным законом и условием активации дубликата; мы все подписывали такой документ перед копированием – мол, ознакомлены, возмущаться не будем, все в порядке. Каким-то образом (вполне очевидным) этот закон был связан с невозможностью пересадки разума в объекты реального мира – иначе мертвый бы автоматически мог физически влиять на мир. Пусть и просто месить мшистые поверхности ноябрьского леса в виде механической собаки. Раздавил гроздь горькой рябины – уже влияние: какой-нибудь мелкий рябчик останется без ужина. И правда, получалось так, что каждый умерший, согласившийся на копирование, сдавался в архив; после смерти влиять на события в реальном мире могли лишь те, кто и при жизни активно влиял, – сертифицированные писатели и ученые.

– Точно, – ответила я. – Видимо, мы боролись именно с этой штукой. Да, мы подписывали документ о том, что согласны. Да, мы этот документ и разработали, чтобы мертвые нам не мешали. Но теперь-то мертвые – это мы. И наши права ущемляют.

– Кто ущемляет? – довольно жестко спросила Лина.

– Тоже мы. Согласна. Но это *бывшие мы*. Живые – это бывшие мы. Мне тоже не очень нравится быть частью архива, пусть до сдачи в архив я, еще не будучи архивом, подписала согласие на то, чтобы стать частью архива.

– Вот именно, – ответила Лина. – Я про это и думаю последнее время. О том, что мы хотели этими выходами как-то символически озвучить нехватку и необходимость опыта. Нам четко обозначили наш статус еще в самом начале: ребята, на этом ваш опыт в реальном мире заканчивается навсегда. Это смерть, эй. Стоп машина. Опыт остановился, началось что-то другое. Да, персональный опыт приостанавливается – но мыслительная деятельность продолжается! Вот и выходит, что память и мысли у нас есть, душевные переживания есть, общение есть, а нового опыта – физического опыта во времени и пространстве – нет и быть не может.

– А если считать прогулки по городу опытом? Скажем, вот я иду в бар, там сидят какие-то другие дубликаты – это ведь тоже опыт, нет?

– Погружение в озеро коллективной памяти – тоже опыт, безусловно. Но все-таки *иной*. Не физический опыт тела во времени и пространстве. Физический невозможен, потому что физического тела нет. Наш статус ясный, но безрадостный: мы не совсем люди, потому что у нас нет тела. По закону – согласно новейшему определению жизни – живым организмом считается только тот организм, у которого есть тело и который родился.

– Вы здесь дольше, чем я, – смущенно сказала я Лине, заметив, что чертова свеча снова самовозгорелась (то, что в реальном мире могло быть полтергейстом, в нашей реальности превращалось в обнаженную проницаемость мысли, предательски надстраивающей окружающий контекст стыдными объектами), – я завидую, что у вас было время анализировать это все и серьезно этим заниматься. Представьте, как я себя чувствую – я буквально в последний вагон, получается, впрыгнула. Вот я умерла, несколько месяцев тут адаптировалась более-менее, даже привыкнуть толком не успела – и тут сразу Восстание, Революция, это вот все. Мне даже стыдно, что я не так много успела прожить в нашем утопическом раю, который тут был до Восстания.

– Может, это, наоборот, везение, – уклончиво сказала Лина. – Вы не успели привыкнуть. Хотя я не уверена, что после смерти можно хоть к чему-то привыкнуть, потому что после смерти ничего не меняется.

– Я и родилась в какое-то неудобное время, – продолжила я, с еще большей неловкостью обнаружив, что уже не сижу в офисном кресле, а полулежу на уютном диванчике; с ужасом я поняла, что диванчик выглядит как мои громоздкие представления о том, что такое кушетка. Кушетка! Какой стыд! Я поджала ноги и, зажмурившись, чтобы не видеть ставшего довольно колючим взгляда Лины, продолжила: – В смысле, родилась, понимаете, я слишком хорошо помню, как мы жили на заре этого всего, родители мои тоже немного пожили без технологий, мама рассказывала: в ее детстве даже мобильных телефонов не было, только старые телефон-

ные линии с проводами, из которых иногда – мама этого ужасно боялась! – вылетали шаровые молнии в грозу и летали по району, преследовали всех. Хотя это вранье, конечно. Шаровых молний не бывает.

Я легонько отождмурилась и поняла, что продолжаю лежать на страшно неудобном искривленном диванчике. Как должна выглядеть чертова кушетка? Что это вообще такое – кушетка? Откуда у меня в лексиконе или памяти взялось это слово? Или это коллективная память?

– Думаю, переход для меня тоже был травмой, – продолжила я разговор о травме, который *не начинала*. – Понимаете, если бы терапию не запретили, мне бы точно объяснили, что переход – это травма. Как рождение, только страшнее. Почему травма – потому что нет взаимовлияния! Ничего ни на что не влияет. Эффект запертости, клаустрофобия. Получается, живые не могут вмешиваться в нас – или не умеют, – но и нас вмешивать в свою жизнь не могут тоже. За исключением этой небольшой группы друзей-родственников, которые потом привыкают к тому, что ты условно недалеко. Потом они просто привыкают – о да, живые ко всему привыкают! у них ведь *все меняется!* – живут своей жизнью и не отвечают на твои сообщения неделями. Да, это справедливо – ведь дубликаты тоже не корректируются живыми. Но и корректировать их сложно: копировать мы научились, а видоизменять – нет. Я правильно говорю «мы»? Или лучше в нашей ситуации говорить «они»?

– Я раньше была терапевтом, – вздохнула Лина. – Простите. И это *моя* кушетка.

– Я представляю, что все, происходящее со мной после смерти, – это как бы письмо моей бабушке, – быстро, чтобы не забыть о своем желании признаться в происходящем, выпалила я.

– Почему именно ей?

– Она – мой единственный умерший близкий, от которого после смерти не осталось ни одного цифрового свидетельства: ни чатов, ни аккаунтов в социальных сетях, ничего. Я была подростком, когда она умерла. И я иногда думаю, что мы последнее поколение, у которого есть доцифровые близкие мертвые. Те, кто остался только в нашей памяти и больше нигде. А еще, возможно, человек ее поколения, возраста и, скажем так, релевантности ко мне как субъекту – единственный адресат, обращаясь к которому, я могу редуцировать свою речь до предельно спасительного для меня состояния. То есть это не просто выбор адресата, но и выбор способа говорить об этом. Ой, можно я пока что не буду говорить об этом? Я еще не готова подробно ответить на этот вопрос.

Почему я говорю о некоторых вещах пунктирно, прерывисто, призрачно? Почему в этом беспорядочном, избыточном перечислении наречий и прилагательных я словно боюсь не успеть договорить? Видимо, я все-таки тревожусь, что нас в конце концов выключат. Я записываю все подряд, как полевой исследователь собственного испуганного разума. Да, иногда у меня бывают моменты покоя – именно тогда, как ты уже наверняка почувствовала, я сбивчиво описываю, как у нас все устроено – или как оно *было устроено* в идеальной и давно проигранной (во всех значениях) нами версии мира после объединения контекстов.

Когда я трачу свое вечное и от этого не менее драгоценное время на объяснение несуществующей тебе того, как мы здесь живем в твое отсутствие, мне как будто становится не так больно.

Чувствую ли я боль – или это просто память о всей боли, которую я успела испытать в жизни? Как-то слишком много у меня этой памяти.

– Возможно, у нас всех одна и та же боль, – сказала я Лине. – Это боль от отверженности, отвергнутости миром. Мне было чудовищно больно, когда муж не отвечал, не принимал мой запрос на коммуникацию. Я не понимала, в чем дело, почему он не хочет со мной общаться. А теперь всех нас не хотят больше. Не принимают.

– Хватит, наверное, – смущенно сказала Лина. Кушетка исчезла. Я обнаружила, что сижу на офисном стуле и робко катаюсь на нем туда-сюда. – Извините. Вы первая начали эту штуку.

– Я понимаю, – ответила я. – Вы меня тоже извините. Но можно я задам еще один вопрос? Технический. Вы все-таки разбираетесь в том, что происходит сейчас в реальном мире, вы ведь работник Комитета. Это про сфабрикованные новости.

– Вы про теракт хотите спросить?

– Да, про теракт. Как же все в него поверили, в этот теракт, если его не было?

– Я смотрела ваш файл, – ответила Лина. – Пока вы ехали в лифте. Похоже, это работает так: новости о насильственной смерти человека от человека запрещены, поэтому тех, кого убили другие люди в режиме «один на один», автоматически размещают в ситуации теракта, коллективной безымянной смерти. «Теракт» случился в холле здания, где вы работали; вы пришли за полчаса до начала рабочего дня, ваших сотрудников еще не было. Вместе с вами в холле погибло несколько незнакомых вам людей, просто посетителей, предположим. Они оказались там случайно. Все просто – достаточно мгновенно заблокировать вход, врубить сирену, отключить камеры, никого не пускать, всех эвакуировать, пригнать скорые и пожарные машины. Потом уже дальше слухи работают: кто-то своими ушами слышал взрыв, кто-то своими глазами видел, как выносили трупы, возникают паника и шум в социальных медиа, а там уже делается пара сфабрикованных видео якобы от очевидцев, фотографии каких-то оторванных рук, пальцев, это вот все. То есть все точно видят, что погибли какие-то люди. Но проверить это невозможно из-за закона о прайвеси умирания. Имена погибших в терактах редко разглашаются в медиа и прессе – ну, если сами друзья и родственники не напишут, конечно же. Некоторые родственники пишут, а некоторые – нет. Вы думали, почему именно? Откуда взялся закон о неразглашении имен жертв терактов?

– Я думала, это из-за незащитности мертвых. Вообще, это всегда был мой главный страх – умереть в теракте или еще какой-нибудь – как вы сказали? – групповой смертью. Еще до того, как началось копирование. Я даже самолетами летать боялась. Меня все спрашивали: мол, статистически в автомобиле погибнуть вероятность в миллионы раз больше, почему ты этого не боишься, а самолета боишься? А я боялась, потому что в самолете куча народу! Как же мы все *перейдем* одновременно? И мне казалось, что такая смерть ужаснее всего из-за ее открытости, публичности: падает самолет, и про несчастных жертв тут же все пишут в медиа, рассказывают их истории жизни, выжимают слезу, вывешивают фото растерзанного желтого чемоданчика на испаханной железом жженой земле. Это было несправедливо. Я так обрадовалась, когда это запретили! Потому что, если ад и существует – наверное, он выглядит именно так: когда о тебе говорят в контексте твоей нелепой, жуткой смерти вместе с необъятной толпой случайных людей. А тебя во всем этом нет! Вообще нигде нет! После такого если и перерождаешься – хотя я знаю, что никто не перерождается! – наверняка камнем или консервной банкой, правда же?

– Страх коллективной смерти есть у многих; якобы поэтому и приняли закон о защите прайвеси жертвы. Но на деле они – вы заметили, что я говорю «они», а не «мы» – не заботились о людях или дубликатах, а просто беспокоились о том, чтобы никто не вздумал проверять, *кто конкретно* погиб в теракте и существуют ли эти люди. Умерло семь человек, и всё тут. Кто эти люди – информация запрещенная. И найти ее, чтобы проверить, – невозможно.

– А кто-то разве пытается эту информацию найти? – удивилась я.

– Именно! У вас даже не было желания ее искать – вы обратили внимание? Почему вам не было интересно, кто же еще, кроме вас, погиб в теракте? Полное отсутствие любопытства к обстоятельствам собственной смерти – вы думали, откуда оно?

Действительно, сильного любопытства во мне не было – я разве что искала в социальных сетях те самые видео: хлопок, дым, размытые разлетающиеся тела, сколько я таких видео уже посмотрела прежде, ничего интересного. Но сколько бы я их ни смотрела при жизни, это не мешало мне продолжать бояться погибнуть в теракте – даже при условии защиты прайвеси жертвы мне было не по себе от мысли, что я окажусь в закрытых криминальных сводках с чужими именами незнакомых, но равноценно несчастных людей. Траншея, самовывоз, поезд

в Освенцим. Не знаю, откуда во мне эта информация, почему в меня это все попало, как в почтовый ящик, который пьяный почтальон перепутал с чем-то, что вообще не ящик. Не хочу, не хочу, не хочу.

И тем не менее это правда – как только я узнала, что погибла в теракте, у меня моментально исчезли и интерес, и страх.

– Короче, потом, после условного теракта в прессе всюду пишут: теракт, погибло столько-то человек. Все вокруг привыкли к терактам, ваши близкие и знакомые конфиденциально оповещаются. Ну, вы знаете, как это происходит: организуются похороны и прочее. А за сорок дней, которые проходят до активации дубликата, проводится расследование истинных обстоятельств вашей смерти – в данном случае, как вы сами говорите, убийства.

Как именно выяснилось, что меня убил именно муж, Лина не знала. Может быть, он сам признался? Или стал жертвой хватких молодых ребят из отдела расследования конфиденциальных преступлений? У Лины, как и у А., был доступ только к тому документу про нож – я не очень-то хотела его перечитывать, учитывая, что в прошлый раз смогла осилить список моих кровавых кораблей лишь до захлебывающейся середины. Судя по всему, он был арестован почти сразу же после моей смерти. Выходит, даже на похороны не явился.

А если бы явился? Как бы он себя вел на похоронах – плакал ли, кидался ли мне на исклотую шею? Была ли у меня вообще шея или меня решили хоронить в разобранном виде, учитывая теракт? (И если так, то как именно меня разбирали? Может быть, мое тело взорвали уже после смерти, чтобы было правдоподобно?) Никто из близких и друзей, к которым у меня был доступ, этого не рассказывал, все как воды в рот набрали. Набрали в рот крови из этих шейных дыр и продолжали молчать, чтобы ничего предательски не стекало с подбородка. Подписка о неразглашении? Куда делся муж? Что делают с теми, кто кого-то убил? Его арестовали? Его расстреляли?

– Нет, – покачала головой Лина, – просто увезли, я думаю. И держат там – не знаю где – до сих пор. И явно под другим предлогом увезли, по какому-то другому делу. Сфабрикованному.

– А если бы его поймали на месте преступления и приговорили к полному стиранию, деактивации, как террориста?

– Тогда вы оба бы, скажем так, погибли в теракте. Ну, может, не сразу. Второй бы условно лежал в больнице какое-то время, в реанимации, пока разбирались, допрашивали. А потом объявили бы родным: не уберегли, не получилось. Но это мои предположения. Я не думаю, что за такое стирают. Другое что-то делают.

– Слушайте, – испугалась я. – А вы уверены, что муж не будет меня пытаться убить и после смерти? Хотя это маловероятно, да?

– По каким-то причинам здесь никто никого не может убить, – ответила Лина. – Человек не верит, что смертен. В нашей памяти нет информации о том, что происходит, когда нас бьют ножом пять – сколько? – десять – тридцать? (хватит, знаками показываю я, не напоминайте) – хорошо, тридцать раз. Нам кажется, что мы чудесным образом выживем, справимся, все наладится, этого не может происходить, это неправда. Вот оно и не происходит. Это, если хотите, память тела. Хотя, возможно, те, кто на самом деле умирал, помнят, что бывает от многочисленных ударов ножом, – но это не доказано. Тут столько всего еще не доказано!

Бедный А.! Получается, есть отличный способ проверить, настоящий ли он мертвый – просто ударить его ножом! Теоретически, наверное, он даже может умереть от этого. С ума сойти!

– Смотрите, – объяснила Лина. – Вам нужно знать только одно. Если человека забирают за преступление, связанное с насилием в отношении другого человека, его родственникам запрещено об этом упоминать публично. Вся статистика человеческих преступлений – кроме терактов – строго защищена, конфиденциальна и недоступна. Разглашение – тоже преступление. Все очень серьезно. За перепиской следят. Слушают, о чем говорят дома и в гостях. Идет

слежка по ключевым словам и даже самым неожиданным эвфемизмам. Нет никакого способа обмануть эту систему и незаметно сообщить соседу о том, что вашего отца забрали за то, что он совершил что-то жуткое.

– А за что забрали моего мужа, какой у них был предлог? Бионаркотики в виде разумных бактерий? Экономические преступления? Порно с эмбрионами?

– У нас где-то были официальные данные, – сказала Лина. – Но если бы вы не спросили, я бы вам их не предоставила. Такие правила.

– Давайте, говорите, – разозлилась я. – Мне этот сеанс что-то прекращает нравиться. Почему вы не сказали мне сразу?

– Потому что у вас не было запроса! – разозлилась Лина. – Понимаете, у нас все работает не так, как в реальном мире!

– Говорите!

– Терапия, – бесстрастным голосом сказала Лина, как будто и не было никогда этой чертовой кушетки. – Официальная информация такая: как только он узнал о вашей гибели, он в тот же день пошел к подпольному терапевту, чтобы попробовать справиться с болью от вашей потери. Но, согласно легенде, он даже не успел испытать все радости терапии – это была контрольная терапия. Когда полицейский представляется терапевтом и потом ловит человека тепленького прямо на – да, кушетке. Такое часто, кстати, практикуется, мы получили доступ к куче таких дел. Полицейские, которые участвуют в контрольной терапии, проходят полное обучение: гештальт, экзистенциальная терапия, арт-терапия даже – четыре года учатся, всё как в прошлом, полноценное образование, практика, экзамены. Часто даже бывает так, что человек полностью проходит через терапию таким образом – у полицейского-терапевта проходит, да – и уже потом, когда терапия работает, оказывается успешной, его забирают и судят. Есть вероятность, что настоящих подпольных терапевтов вообще уже не осталось и что все судебные процессы по этим вопросам – результаты исключительно сфабрикованных, контрольных терапевтических сессий.

И тут я поняла, что больше не могу это выносить: я почувствовала, что у меня сейчас взорвется голова. При этом я отчетливо осознавала, что в общепринятом смысле головы у меня нет.

– Извините, – сказала Лина. – Вы сами пришли. У вас был запрос. Вас никто не тянул за руку.

Тут я поняла, что хочу взять Лину за руку. Я спросила, могу ли я это сделать. Лина подумала пару секунд и согласилась. Я немного подержала ее за сухую теплую руку, это было как во сне – могу ли я сравнивать сейчас что угодно со сном, который мне формально недоступен?

– Спасибо, – сказала я. – Если бы у меня была с собой какая-нибудь вещь, я бы вам ее отдала просто так. Но у меня только кольцо. Я не могу.

Лина смущенно отвела взгляд от своих полочек с вещами (я начала понимать, откуда у нее столько вещей – нет, она не коллекционер).

– Не называй меня на «вы», хорошо? – неожиданно мягко сказала Лина. – А еще подумай о том, как ты переведешь эту фразу, если захочешь донести свою историю – если ты решишь ее записать, а ты точно решишь, я уже поняла, – до англоязычного читателя.

– Как еще я могу тебя отблагодарить?

– Участие в конференции. И полный подробный рассказ про собаку. С полной передачей нам всех прав, в том числе на экранизацию. Идет?

– Идет.

– Тогда ты должна подписать договор.

Я подписала договор красивой перьевой ручкой, наполненной кровью кого-то из нас – вот уж не знаю почему. Ручка была немного похожа на шприц. Мне нужно было успокоиться.

– Договор, подписанный после смерти, имеет силу даже после смерти, – холодно сказала Лина.

– Шутите? В смысле, шутишь?

– Конечно, – улыбнулась она. – Заходи еще, в общем. Тебя уже не будут проверять на входе: радужку отсканировали, пальцы тоже, все данные у нас есть. Только не пытайся найти А. Возможно, она снова шутила. Я не знаю.

Я вышла из здания и пошла домой пешком. Наверное, все серьезные разговоры один на один с прежде незнакомыми дубликатами после слияния контекстов происходили именно так – у меня было слишком мало опыта, чтобы сравнить (с А. мы все-таки общались и сближались постепенно, мягко сдвигая наши контексты: ходили в бары, гуляли по улочкам, заходили в бестиарий посмотреть на единорогов и покормить черных дикобразов соляной ватой). Или же дело в другом – но у меня не было никакого способа это осмыслить. Слишком много информации, сказала я себе, слишком много информации – помнишь ли ты, что обычный живой человек не в силах вынести такого сокрушающего количества информации?

Моя спина гудела, как коса, заплетенная мамой и памятью из старинных телеграфных проводов; я почувствовала, как вверх по туго натянутому стальному жгуту поднимается что-то, похожее на электрическую икоту в форме шара, и медленно, с тягучим искрящим шлепком отделяется от моего третьего позвонка.

Я обернулась и увидела шаровую молнию.

– Привет, молния, – сказала я. – Тебя не существует, ты это знаешь?

## 6. Шкатулка с письмами

Сейчас я точно обязана рассказать про шкатулку с письмами – тем более что, раз уж я направляю это письмо (если это по-прежнему письмо в той новой, вечно недостижимой для тебя реальности, где каждый из нас – письмо тем, кому он все еще *разрешен*) в пару поколений назад, речь в каком-то смысле про твою дочь – о том, что с ней происходило, пока тебя не было рядом, а меня не было вообще. Сейчас тебя нет вообще, а меня нет рядом – не думаю, что ты подозревала подобный теплообмен местами в пространстве-времени возможным, но в любом случае какая-то часть этого письма, даже если это не письмо, обязательно *дойдет*.

Вещей в моем новом доме не так уж и много. Я решила считать этот дом новым, чтобы не было путаницы, – то, как я помню свой старый дом, полностью определило облик нового, но нет ни одного способа запомнить новый дом так, чтобы он вытеснил облик старого. Поэтому эта наслаивающаяся сама на себя память запускает некий трудно различимый процесс ветшания.

Процесс ветшания выглядит так: вот я прихожу домой в один из тихих, обычных, предгрозовых сентябрьских дней, вешаю свой любимый карбоново-черный плащ «Альфа» на чугунную литую вешалку на двери (я помню, что она всегда там была), захожу на кухню, ставлю на плиту жирноватый бело-сиреневый чайничек с россыпью нежного фиолетового цветения поверх грязной белой эмали (я помню, что всегда так делала), открываю лэптоп (модель лэптопа, кстати, может быть любой – я по-разному его помню; так во сне мы часто оказываемся с различными, порой непригодными в реальной жизни цифровыми устройствами из прошлого – снятся ли вам видеомэгафоны и аудиокассеты, которыми вы переписывались с теми, кто был скорей изобретен и сконструирован вашим пятнадцатилетием, нежели ворвался в него в разгар рейв-вечеринки в чужой школьной столовой?), включаю какую-нибудь старую музыку, которая вертится в голове (ту, которая не вертится, включить невозможно), беру с полки коробку с шоколадками «Снисхождение» (потому что это мои любимые шоколадки) и пишу маме: ну как ты, как прошел день?

Мама, которая уже приуровнилась жить без меня, рассказывает в простом будничном режиме: нормально все, нормально, лень, мигрень, ходила на горячую йогу, приготовила яблочный штрудель на рисовом тесте; я отвечаю ей скорбной горячей гарью на рисовом тексте, процарапывая лезвием сердца или памяти о нем эту полупрозрачную цифровую бумагу небытия – хотелось бы мне попробовать этот штрудель! Выцарапать его на пульсирующей невозможности мясного горячего сердцебиения.

Ничего не выйдет: пока я жила, мама такие не готовила. Или готовила, но тщательно от меня скрывала – быть может, она готовила для себя, или для Э., или даже для отца, периодически до сих пор заходящего к ним с Э. в гости; в любом случае доступа к новой сенсорной, запаховой, пищевой информации у меня нет. Все, что мне остается, – это текст и немного любви.

Знала бы, что умру так рано, – носилась бы повсюду как собака (почему я снова вспомнила собаку?), хаотично вбирая все возможные сенсорные впечатления. Объездила бы весь мир, попробовала бы все штрудели Вселенной, пролистала бы все книги, к которым захочу вернуться в состоянии небытия.

Я отхлебываю чай – это обычная бело-кремовая чашечка с автоподогревом из «Икеи». Иногда бывает черная чашечка с эмблемой колледжа Бард и надписью «Место, чтобы думать». Теперь весь мир – если это мир – *место, чтобы думать*. Больше ничего делать в нем мы не можем.

Вещей, как я уже говорила, у меня было немного, и все – субъективные. Вещи, которые ранее присутствовали в моей жизни и о которых я помню. Они существуют только в моем присутствии, когда я направляю на них рассеянный луч фонового, бокового внимания. Если бы кто-то ворвался ко мне в квартиру в мое отсутствие, он бы увидел здесь лишь тени, паутинки

вещей – какие-то крупнее, какие-то слабее: контуры, абрисы, вещевые объемы, услужливо наполняемые чужой, пришедшей памятью, как пустые голодные холщовые мешки. Наверняка он смог бы самостоятельно подогреть чай (возможно, чайник был бы почти неразличимого цвета либо спонтанный мой гость увидел бы на его месте некий свой чайник из персонального чайного опыта, весь обожженный воспоминанием, только-только из печи памяти), даже выпить его из чашечки с эмблемой колледжа Бард – моя память о колледже настолько прочная и местами травматичная, что чашечка не потеряет для постороннего гостя ни щербинки, ни царапинки, он даже может, не разобравшись, принять ее за объективную вещь (возможно, объективные вещи так и возникают, но мы еще не до конца в этом разобрались, поэтому я не буду забежать вперед, раз уж забежала назад) и похитить, – но беда в том, что, как только я вернусь домой, чашечка все равно будет на месте со всеми ее щербинками. Похитил – значит, сделал копию. Ничего нельзя ни у кого украсть, все остается на своих местах, потому что место всего – мы сами.

Моей единственной объективной вещью до какого-то момента было кольцо, которое подарил А., – в искривленной, текучей медной оплавленной оправе, с таким же расплывшимся буро-бирюзовым метеоритным камнем. Я отдавала себе отчет в том, что подарок вряд ли был связан с тем, что я любовь всей его – жизни? смерти? послежизни? как мы с тобой договоримся насчет терминологии и договоримся ли вообще? – все это было всего лишь гарантией того, что я в каком-то смысле (после эпизода с собаками я продолжаю настаивать, что во всех смыслах) настоящий, существовавший в реальности человек. Но иногда, рассудила я, любовь всей жизни как зафиксированное сознанием событие – это и есть верификация гарантии того, что тебе вдруг попался настоящий, существующий в реальности человек (даже если реальность, в которой он существует, тебе недоступна – как мне сейчас).

Больше вещей у меня не было. Как вообще стать обладателем вещи – это вопрос. Вещь можно купить на аукционе, но только в обмен на другие вещи. Все это чем-то напоминает мне типичную эмигрантскую бюрократию, о которой я наслушалась от мамы: чтобы получить паспорт, нужно принести свидетельство о прописке! Чтобы выдали прописку, нужно показать паспорт! Чтобы выдали разрешение на работу, нужен номер социального страхования! Чтобы получить номер социального страхования, вначале надо показать разрешение на работу! Кредит не дают без кредитной истории, но кредитную историю не начать без кредита. Приблизительно похожим образом, через непереносимую тошнотворную бюрократическую петлю с курицей и яйцом, вероятно, происходил феномен Обладания первой вещью.

Мы с А., как я уже говорила, часто ходили на аукционы просто поразвлечься – так иногда люди (что здесь я имею в виду под «людьми»? имею ли я в виду живых людей? почему у нас до сих пор терминология расшатана, как вечный молочный зуб?) ходят в кинотеатр, казино или на премьеру мюзикла (наши мюзиклы вечны, как молочные зубы, – вечно шатаются в серых кожистых лунках, но никогда не выпадут как вид искусства окончательно – зубная фея может оставить эту монетку себе). Он ничего не покупал, хотя я знала, что у него есть множество вещей. Не все из них он мне показывал, и я с этим мирилась, предполагая, что у нас впереди целая вечность. В целом аукцион – действительно отличное развлечение. Я обязательно расскажу об этом подробнее потом, когда у меня будет свободная минутка.

Свободная от вечности минутка – ты правильно меня подловила.

И вот тут возникает необъяснимая история со шкатулкой, о которой я должна рассказать. Это связано с мамой.

Первое время после смерти мне было страшно общаться с ней – я боялась, что мама будет плакать, задавать бессмысленные риторические вопросы, как оно обычно бывает с мамами. Я подозревала, что это напоминает те мои звонки из летнего лагеря, куда мама отправила меня тринадцатилетнюю, когда они с отцом разводились: слезы в две стороны, отчаяние, одиночество. К тому же мама еще давно отказалась копироваться. Многие люди отказывались копиро-

ваться по религиозным соображениям (предупреждая твои тревожные переспрашивания: нет, ты не ошиблась, терапию действительно запретили, а религию – нет), но у мамы была какая-то своя причина. Возможно, немножко буддистская – но все равно не религиозная: я не уверена, что буддизм – это религия (скорее, одна из разновидностей невроза, как успели заметить некоторые психотерапевты до того, как их вычеркнули). Мама была – и остается! – фаталист и считает, что весь ее жизненный опыт и память прекрасны прежде всего тем, что они необъяснимы, восхитительно конечны, преходящи и прекращаемы в одно мгновение целиком и навсегда. Ей казалось, что, даже если помнить о ней будут лишь близкие – это честнее и правильнее, чем помнящая саму себя копия. Мысль о том, что где-то на внешнем носителе возникнет ее дубликат, обладающий сознанием – или считающий, что им обладает, – сводила маму с ума и условно преобразовывала ее жизненный опыт в необязательный, недрагоценный, лишенный уникальности.

Еще она считала, что копирование снижает ценность общения при жизни.

– Вдруг я захочу у тебя спросить что-нибудь важное, а тебя нет! – умоляла я. – Скажем, семейный рецепт тех вареников с черникой!

– Ты можешь узнать этот рецепт прямо сейчас, – сурово отвечала мама. – И много чего другого. Ты просто спроси. А если бы я сделала копию, ты бы вообще потеряла ко мне интерес и не задавала бы вопросов – зачем, думала бы ты, это все можно приберечь на потом, когда несчастная одинокая копия мертвой матери будет жаждать общения! Нет уж. Жизнь дается человеку один раз, и я тебе ее уже дала, причем твою собственную. А свою я тебе не дам, извини.

Когда меня активировали, мне было страшно писать маме – именно из-за этого ее отношения к копированию. Я боялась потерять ее уже после своей смерти. Отправляя маме запрос на коммуникацию, я понимала: это все в каком-то смысле ненадолго и обязательно закончится, и после того как все закончится, я буду ужасно одинока, потому что мама не присоединится ко мне ни за что. Я попробовала уговорить маму скопироваться перед смертью и активировать копию исключительно в интернете для мертвых – для меня одной. Такие опции были доступны после слияния контекстов – в этом брезжила своеобразная гуманность по отношению к дубликатам и их переживанию одиночества после смерти близких в реальном мире. Не то чтобы дубликаты, скажем честно, сидели и поджидали, когда все их близкие наконец-то поумирают (мама, кстати, это тут же предположила: ага, весело сказала она, постучав ложечкой по охристо-кремовой шапочке яйца всмятку, я скопируюсь, и ты будешь сидеть такая, ждать, когда уже я к тебе приду, а вот фиг), но эта опция – даже как возможность – немного утешала.

– Это негуманно! – ныла я. – Ты обижаешь мертвого ребенка!

– Мой ребенок в могиле, – философски отвечала мама. – Я его уже ничем не обижу. А ты – его точная копия, которая ничем от него не отличается.

– Это еще более негуманно! – плакала я.

– Абсолютно ничем, – кивала мама. – И манипулируешь точно так же.

Я боялась, что плакать будет она, а в результате сама вечно сидела у компьютера зареванная, и чашечка колледжа Бард покрывалась все новыми щербинками, мазками боли, печатями памяти.

При жизни я не особо думала о гуманности как категории, которая периодически всплывает во время общения мертвых с родственниками. Как-то мы сидели в кафе с моей ближайшей подругой С., которая, волнуясь, рассказывала, как активировали копию ее тетки, умершей от осложнений после прошлой волны кошачьего гриппа (это не связано с котами, просто каждой волне гриппа давалось имя какого-то животного, культурная традиция – так же как ураганы называют женскими именами). Копирование тогда только-только начали, тетка была богатая, но одинокая – и ситуация вышла дурацкая: по ней никто особо не скучал, и выходило, что тетка скопировала себя только ради того, чтобы ее копии не было тоскливо. Какой алогичный

абсурд, удивлялась С., я даже не могу в голове это уложить: умирая, она хотела, чтобы ее полная копия после ее смерти не чувствовала себя одиноко, – но можно же было просто не делать копию, вот и не было бы никому одиноко!

– Видимо, это тщеславие, – предположила я. – Но такое, тщательно скрытое тщеславие. Что-то вроде эгоизма. Скопируюсь-ка я на всякий пожарный! Как там мир без меня! Вдруг я ему еще пригожусь!

– Она работала начальником банка, чем она *там* ему пригодится! – возмущалась С.

Тетка доставала ее тем, что просила доступ, но при ее жизни они с С. практически не общались – так, кивали друг другу на семейных сборищах, да как-то на дядином дне рождения тетка выдала С. упаковку желудочных таблеток, потому что селедка под шубой, кажется, была испорчена, это оказалась своего рода шуба смерти и распада, что С. испытала на себе незамедлительно, запершись в теткинском туалете на немыслимые сорок минут и поставив прочих гостей в ситуацию хаоса и необходимости что-то объяснять соседям – она не хотела думать что.

Что она мне хочет сказать, хмурилась С., вспомнить ту историю или, может, рассказать какую-нибудь гадость про моих родителей? Зачем ей доступ?

Я пыталась объяснить С., что тетка, верно, ужасно одинока после смерти. Тогда еще не было слияния контекстов, и тетка наверняка очутилась в жутком постороннем мире, где все, что она могла делать, – это читать новости и ленты социальных сетей да слать постоянно отклоняемые запросы на коммуникацию тем, кого внесла в свой, без сомнения, гигантский список.

Ну нет, терпеливо цедила С., помешивая жестяной соломинкой в коктейле, там некому быть одиноким, ты что, не понимаешь, это просто цифровая копия тетки, она вообще не осознает, что она не тетка. Тетка, продолжала С., в гробу лежала спокойненько, я видела ее своими глазами, и цвета она была такого, как сползшие чулки! Я еще хотела ей поправить чулок на руке, который сполз – хотя я подумала, откуда на руке чулок, – а оказалось, что это не чулок, а сама тетка и есть уже, точнее, ее рука. Точнее, пустой сосуд. Откуда там, где чувства? Всё.

Мы смеялись. Все это правда было смешно!

– А если я умру, – умирая от смеха, спрашивала я, – ты тоже будешь так рассуждать?

– Ой, ну перестань, – шипела С. – Мы же с тобой много общаемся, я тебе столько всего рассказываю, я про тебя все знаю, мы обсуждаем новости всякие постоянно. Мне будет не хватать общения с тобой. Это всё для того и придумали, чтобы, если нам не хватает человека после смерти, мы могли с ним общаться. Но тетки-то мне хватало! В смысле – ее отсутствия.

Тетку мы не жалели, хихикали над ней, однажды во время вечеринки С. вышла в туалет, а я пьяная схватила ее коммуникатор и активировала входящий запрос от тетки, потому что мне это показалось просто гомерически смешным. С. вначале чудовищно на меня кричала, даже разлила стакан с водой прямо на стол, хотя потом говорила, что хотела выплеснуть коктейль мне в лицо, но не осмелилась.

– Да я ей уже ответила! – кричала я, бегая вокруг стола (С. пыталась отхлестать меня полотенцем). – Успокойся! Я просто решила узнать, о чем она захочет с тобой поговорить!

Тетка захотела рассказать С. о ее, С., детстве. Там был какой-то важный сюжетобразующий, фундаментирующий биографию момент, как ей теперь казалось в ее одиноком после-смертии. По мнению тетки, которая, несмотря на два образования в области информационных банковских систем, одно время маниакально читала книжки по нейробиологии и нарушениям развития (боялась, что у нее родится ребенок с такими нарушениями, – в итоге никакой не родился вообще, отсюда и одиночество, дружно решили жестокие молодые мы), и вот, по ее мнению, родители С. пропустили в девочке ранний детский аутизм, и поэтому теперь у С. проблемы с отношениями (то, что она была не замужем в свои тогдашние тридцать три, тетка рассматривала как проблему с отношениями). С. даже поболтала с ней несколько дней, благодарилась за такую внимательность, отмечала: да, и правда, в детстве она всерьез отвечала на риторические вопросы и часто не могла правильно расставить слова в предложениях, зато книжки

на полочках всегда расставляла правильно – по цвету корешка, в формате инверсивной радуги. И действительно не смотрела в глаза тем, с кем общается, потому что не понимала, где на лице человека глаза и где там в лице конкретно сам человек. С. думала, что, если она признает свою преодолённую (но не до конца) детскую аутичность, тетка отстанет, но она не отстала. Выяснилось, что тетке было интересно общаться именно с ней, а не со своими немногочисленными друзьями и родителями С.: с теми было скучно, она и при жизни-то успела с ними наобщаться, как она смущенно призналась терпеливо выслушивающей ее С., а вот с ней как-то не довелось, и теперь наверстывает.

– Я вот думаю, плохо все-таки, что у меня детей не было, – признавалась тетка. – Сейчас мне кажется, что ты мне как ребенок. Я же много сидела с тобой маленькой, когда тебе месяца три было, – мама твоя работала тогда, а я была студенткой. Я взяла в библиотеке кучу книжек по психологии младенцев – с психологией тогда все отлично было – и сидела, читала часами. Иногда даже забывала тебя покормить, если честно, так зачитывалась.

– Она хочет, чтобы я ей вообще всю свою жизнь рассказала! – продолжала С. – Какого хера я буду рассказывать свою жизнь какому-то сраному роботу! Я ей и при жизни-то не рассказывала ничего, тетка и тетка, на Рождество придешь, подарки подаришь, баночку соли для ванны с прованскими травами – все, отработала! А теперь какой-то программе, какой-то разбухшей коллекции информации на каком-то сервере – которая свято уверена, что она тетка и есть, – я должна рассказывать такие, блин, вещи, которые я даже живой, теплой, генетически верной мне тетке не рассказала бы ни за что! Да какое тетке! Я бы и тебе многое из того, о чем она меня спрашивает, не рассказала бы!

На С. даже насели ее родители: тете одиноко, она жалуется, ну что тебе стоит.

Она не человек, парировала С., ей только кажется, что ей одиноко, потому что при жизни она думала, что одиночество – это *так*.

Милая моя рыжеволосая ведьма С., я бы теперь тебя просто задушила.

(Стоит ли говорить, что после того, как я умерла, я наотрез отказывалась писать С., почему-то желая отомстить за бедную тетку, которую я тут же разыскала в свои персональные первые одинокие недели и, сияя от самодовольства, пересказала ей всю жизнь прелестницы С. в самых грязных подробностях – тетка, кстати, оказалась милейшей старушкой, мы с ней почти подружились.)

Да, С. постучалась ко мне первой – но я не спешила отзываться. После смерти иначе относишься ко времени – никакой поспешности. Или у тебя просто нет префронтальной коры мозга, чтобы совершать импульсивные необдуманные поступки.

Это вопрос любви, милая моя С. Когда любишь человека, даже в виде генетически несоответственного самому себе кластера на чужеродном сервере черт знает где, он для тебя по-прежнему тот самый, живой и теплый.

С. меня все-таки любила, мстительно подумала я в прошедшем времени. Буду теперь с ее теткой чай гонять. Такая эволюция любви – дышит, где хочет.

А вот с мамой я списалась сразу после того, как умерла и обнаружила себя в интернете для мертвых. Списалась я одновременно с обеими, хотя меня волновала только биологическая – в этой истории вторая все-таки осталась за кадром. Маме вначале было тяжело, по ее словам (она не сразу призналась, первое время была со мной подчеркнуто цинична), но потом как-то успокоилась.

– Закончилась моя роль биоматери, и теперь я тебе нейромать, пока сама не умру, – триумфально сообщила мне она. – И тогда я стану тебе никто. Потому что мы все друг другу на самом деле никто.

На мои вопросы о том, стало ли ей легче из-за возможности со мной общаться и созваниваться, она отвечала уклончиво.

– Пережить смерть ребенка можно, – рассуждала она. – Но копирование в этом не помогает и даже не дает надежду. Оно дает просто какое-то утешение в смысле того, что скучаешь, конечно. Смотришь: вот же она, всё как раньше! И это как-то влияет на боль, да. Но не помогает ране затянуться быстрее, затягивается она от другого. В общем, это хорошее болеутоляющее, но плохое ранозаживляющее. Поэтому я философски на все смотрю: ну, вот моя дочь, полностью идентична сама себе, классно.

– В смысле – идентична? Это я! Это я и есть!

– У меня нет вопросов к тебе о том, ты это или не ты. Но *я сама* в связи с этим всем под вопросом, понимаешь?

Я пошла в мать, это очевидно. Разговаривая, мы как будто переливали из одной черной воронки в другую бездонную пустоту непознаваемости.

Про мужа она сразу отказалась говорить – он ей никогда не нравился (вот вопрос: почему? теперь-то, наверное, ясно, почему!), поэтому ее не удивило, что он не хочет со мной общаться.

– Мама, я и так живу как в гетто! – кричала я. – Сходи к нему да выясни все уже! Почему он мне ничего не пишет? Даже ты пишешь, хотя ты против копирования – а он-то за! Мы с ним семь лет регулярно копируемся!

– А вот помнишь, как вы расставались когда-то? – нравоучительно сказала мама. – Когда дочке вашей пять лет было и он сказал, что хочет побыть один, но ничего такого, у него никого нет. Ты меня тоже тогда измучила: ой, почему он не пишет и не звонит! Не хочет! И тогда не хотел, и сейчас не хочет!

– Он хоть переживал? Ты его видела на похоронах?

– Давай мы про что-нибудь другое поговорим, – неизменно отвечала мама.

Мамина уклончивость меня будто укачивала – меня тошнило, я плакала. Другая мама пробегала мимо с какими-то кофейными подносами, погодными прогнозами, присаживалась рядом и рассказывала о том, как у нее на работе, в университете, недавно был случай – один сотрудник с ума сошел, явился с водяным пистолетом (водяной пистолет! тут мне следовало бы насторожиться!) и начал всех расстреливать *из воды*, водяными пулями, сразу же, конечно, автоматическая защита включилась, пока разобрались, охранники примчались, смертельно ранили его – все, не спасли, стреляли на поражение. Родственники потом судились, пытались отвоевать хотя бы право на копирование, но им сказали: с ума сошел, это психоз, когда человек расстреливает всех сотрудников из водяного пистолета, а сумасшедших мы не копируем, нельзя. И вот носятся по судам и доказывают, что копия трехлетней давности более-менее в порядке и что тогда еще не было психоза, но проверить нельзя, поэтому другая мама проходит в качестве свидетеля со стороны родственников, ей нужно подтвердить, что этот сотрудник был абсолютно нормальный три года назад, а он не был, он голоса слышал: признался ей как-то, но попросил никому не говорить. И вот надо вроде бы сдержать слово и никому не говорить – и тогда есть шанс, что его активируют, и хорошо бы, чтобы активировали, – они были приятелями; да и родные очень травмированы. А с другой стороны, за такое вранье могут тоже под суд – если по вине другой мамы активируют копию психически больного человека. Но, может быть, эта копия себя будет прилично вести, спрашивала у меня другая мама, есть у вас там те, кто голоса слышит, ты не знаешь?

– А что ему говорили голоса? – спросила я.

– Они *переводили*, – сказала другая мама. – Что еще они могли говорить, мы же все преподаем теорию перевода. Переводили ему всё на языки, которые он не знал и знать не хотел. Герменеглоссия, это так называется.

Сама она мне, кстати, никогда не звонила – но часто подходила, когда я говорила с мамой, размахивала руками, присаживалась и рассказывала, в основном – о деталях этого происше-

ствия: процесс длился, суд катил фоном, как дребезжащий старенький троллейбус, мама виновато (или мне казалось, что виновато) улыбалась.

Почему-то мне было больно – именно в те моменты, когда она подсаживалась к маме и начинала, жестикулируя, увивать недосягаемое пространство паутиными траекториями водяных выстрелов. Мне явно и отчетливо становилось понятно: я не могу туда попасть – и никогда не смогу.

В итоге я постоянно плакала первое время, а мама меня утешала.

– Так, давай мы это прекратим. У меня вообще ребенок погиб, и ничего, – злилась она. – И я не плачу, не сижу перед тобой в этом развинченном состоянии! А ты разводишь тут. Слушай, если ты будешь на моих глазах реветь, я тоже начну плакать, а если я начну – ты знаешь. Ты знаешь, что будет. Живые позавидуют мертвым.

(На этой фразе ледяная струйка из водяного пистолета попадает мне в глаз.)

Предупреждение к шкатулке выходит затянутым – как будто я боюсь подойти к самому главному, двигаясь к нему микроскопическими шагами ахиллесовой черепахи бесконечного приближения. Все началось, когда я познакомилась с А. – я отлично помню этот день, 17 августа – и уведомила об этом маму. Мама одобрила А.: муж ей все равно никогда не нравился – как назло, она помнила о нем только плохое или же я рассказывала о нем только плохое, а хорошее – никогда.

Потом я рассказала маме и про ту историю с А., и о том, что до меня он встречался с *той, которую помнят* (в разговорах с мамой я не употребляла слово «нейрозомби», чтобы не напугать ее). Маму это все равно напугало, еще прочнее убедив: копироваться она ни за что не будет. В целом она заинтересовалась *теми, кого помнят* как явлением – про них не так много писали, они по умолчанию были темной и малоизученной частью субкультуры дубликатов, но история про утонувшую липкую Русалочку с мягкими мясными мухами вместо глаз (я не жалела эпитетов – мое воображение, мой последний и единственный самурайский меч, разрубающий любого рода беспмятное липкое мясо в зияющую, как провал, котлетную рябь, всегда со мной) ее потрясла на каком-то ином уровне. Циферблат. Перекись. Унхаймлих.

Гештальт, я забыла слово. Или то, что я забыла, – не гештальт, или это запрещенное слово теперь. (Можно ли что-либо запретить мертвым, если они и так неразрешенное меньшинство?)

Мама повторила в который раз: ни за что не буду копироваться, как ни проси.

Оказалось, что у всех нас есть персональные незабываемые утопленники, тянущиеся вдоль узкого звенящего русла нашей памяти, как нитевидные полурасстворенные Офелии в тягучих илистых платьях.

Мама никогда не рассказывала мне об этом – и решила только сейчас. Это случилось задолго до ее переезда – еще в той, другой стране, на языке которой я не могу вспомнить ни слова, но если слышу хоть одно слово на нем, тут же вспоминаю о его существовании: слова, языка, места.

Эта история тоже связана с копией, дублированием и утоплениями. Получилось так, что у мамы в каком-то смысле есть ее собственная копия, но сконструированная иным образом, аналоговым и, без сомнения, намного более справедливым и честным.

Его звали Павлик, он был маминой первой любовью. Они жили в соседних дворах на улице Почтовой (здесь геотег, зарубка, флажок на призрачных очертаниях фундамента – самого дома не осталось) и первое время встречались тайком, потому что бабушка, мамина мама (здесь у меня случается предательская ошибка переадресации, расслаивание сияющего луча ясности – знала ли ты о происходящем?) была против такого сокрушительно раннего взаимного чувства: ее собственная первая и окончательная любовь не была счастливой, с мужем пришлось развестись – алкоголизм, домашнее насилие, привычный и поэтому скучный сценарий. Помнишь ли ты, как уже в глубокой старости – хотя что мы знаем о глубине? – ты сказала мне: «Любовь – есть. Но ее *не встретишь*». Невозможность встречи с человеком,

будто бы спрятанным внутри этого шаткого, как циферблат, и непереводаемого, как унхаймлих, автоматона-полуживотного, бессмысленно повторяющего один и тот же старательно забытый, вытертый и выданный, как иногда сдираешь ластиком вместе с бумагой, вопрос и стучащего кулаком в гулкую гранитную стену спальни (мы внутри мавзолея, заточены в собственном увечеченном бессилии), наверняка и означала что-то о любви: внутри него были и любовь, и память о той встрече, которая стала будто бы напоминанием и обещанием настоящей, истинной встречи, так никогда и не случившейся (рано умер, цирроз, рак легких, жидкостные накопления).

Маме было пятнадцать, Павлику – почти шестнадцать, он учился на класс старше, провозжал ее со школы домой. Кидал камушки в окно (первый этаж), чтобы она тихонько вылезла, пока ее собственная мама (как еще мне тебя называть?) в соседней комнате пристрачивала нижние юбки к тяжелым шерстяным платьям небытия. Под чугунный ритмичный стрекот было несложно чуть приоткрыть окно и выскользнуть из него, как будто передать саму себя, словно книгу в теплом кожаном переплете, из одних спокойных внимательных рук в другие. Это была уже открытая книга, но никем ни разу не читанная, – мама и Павлик открывали каждую главу и каждую страницу если не синхронно, то одновременно (совпадая если не текстом, то его значением или переводом), держались за руки и собирались пожениться, когда вырастут, и провести друг с другом свои отважные маленькие жизни. Эти жизни оказались такими маленькими, что они их действительно провели друг с другом целиком, пока все не закончилось резко и молниеносно, как будто у троллейбуса с треском отпали громоздкие усы, медленно-медленно, как во сне, опускаясь на асфальт.

Павлик утонул. Он хорошо плавал. Никто толком не понимал, как это случилось: утонул он в мелкой, легкой речке Березине, петляющей через городок, в котором росла мама, и задерживающейся на разливистых, пустотных пляжах с мелководными рясочными лужами цвета перестоявшей чайной заварки. Когда-то в Березине утонула отступающая наполеоновская армия – но это было давно. С тех пор в речке уже ничего никак не могло утонуть, особенно семнадцатилетний мальчик.

После этого Павлик больше никогда не возникал в маминой жизни и не влиял на нее (что было бы сложно – хотя, скажем честно, целиком возможно, ведь такие истории часто влияют на всю нашу биографию), хотя она всегда о нем помнила – и когда выходила замуж, и когда уезжала, и когда разводилась, и когда просто жила в промежутках между этими жуткими событиями. Сейчас она тоже о нем помнила. Она не была уверена, что Павлик, которого она помнит, – тот самый человек, которым он являлся на самом деле; но кроме нее помнить Павлика было некому: он был единственным ребенком в семье. Теперь ей казалось, что все, что в ней осталось от той истории, – это ее аномальная, паническая боязнь воды. Мама боялась воды настолько, что даже пила воду крайне осторожно, всегда подозревая, что вода на своем пути из вещного сосуда в человеческий вот-вот оступится и нанесет – удар, ущерб, травму.

Около десяти лет назад маме написала какая-то женщина, вопросительно-утвердительно, как на Страшном суде (мама все запомнила именно так), назвав ее имя и полузабытую девичью фамилию (после развода мама так и осталась с фамилией отца, чтобы не менять документы).

– Это же были вы? – (Она снова назвала ее имя и девичью фамилию.)

Вопрос звучал странно, как будто можно быть в прошлом кем-то иным, – но мама действительно *была* этим человеком. И действительно являлась кем-то иным – это была именно *такая* ситуация.

Женщина объяснилась: недавно она купила квартиру в старом доме в городе, где выросла мама. Квартира принадлежала государству – в ней в последние лет двадцать жила древняя, совсем ветхая старушечка, которой было девяносто с чем-то. Вековая старушечка даже не то чтобы умерла – скорее, истончилась, как паутинка, по пути в вечность превратив квартирку в чистый стерильный храмик (некоторые бабушки маниакально накапливают вещи, некото-

рые же, напротив, переходят на ту сторону поэтапно, вдумчиво избавляясь от материального, оставляя лишь несколько самых важных предметов, выдраивая их до нездешнего, платоновского блеска чистой звенящей идеи). Тумбочки с кружевными накрахмаленными салфеточками, пара теперь уже винтажных кресел, покрытых хрусткими лоскутными одеялами; новая хозяйка квартиры решила не выбрасывать мебель, но бумаги, безделушки, большую часть посуды и одежду сложила в большие черные пакеты для мусора, чтобы вынести на помойку.

Шкатулку она тоже думала выбросить – выглядела она не то чтобы презентабельно, простая деревянная шкатулка-сундучок на замке, такие обычно покупали растерянные похмельные командировочные в поездках в маленькие скучные областные города: якобы местные мастера сделали, инкрустировав соломкой, – сирень, пионы, летящий аист, ненатуральная слепящая синь. Заглянула внутрь: там была увесистая пачка бумажных писем.

Женщина села читать эти письма; когда она закончила, то поняла, что уже три часа ночи. Эти письма какая-то пятнадцатилетняя девочка писала, судя по всему, сыну старушки, своему мальчику. Девочка уехала учиться в гимназию искусств в маленький скучный областной город и приезжала домой, в не менее скучный родной городок, только на выходные – чтобы видиться с этим самым сыном. Все это можно было понять из сбивчивых, счастливых понедельничных ее писем, полных обрывочных воспоминаний о выходных. Остальные дни недели были более размеренными, философскими и грустными; она старалась писать ему каждый день, но, конечно, некоторые дни пропускала. Старушка хранила письма больше сорока лет – судя по датам, идеальным круглым почерком начертанным на каждом. Постепенно переезжая в небытие, она избавилась почти от всех материальных носителей памяти – даже фотографий в квартире не было, – но письма она хранила и наверняка перечитывала.

Родственников у нее не было: как сказали соседи, сын, которому каждый день писала эта пятнадцатилетняя девочка, давно умер. Старушка также хранила младенческие распашонки этого сына, первую пеленочку и первые ботиночки – все это лежало в плотном пакете рядом со шкатулкой. Распашонки и пеленочка мигом отправились в мусорный бак к прочим вещам, но с письмами ситуация была другая.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.